

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА 





Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1974



ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА

ИЗБРАННОЕ

Автобиографическая проза
Сонеты



И(Итал.)
ПЗ0

Составление, общая редакция и комментарий
Н. ТОМАШЕВСКОГО

© Издательство «Художественная литература»,
статья, отмеченная *, и оформление, 1974 г.

Художник
А. ГОНЧАРОВ

П $\frac{70404-237}{028(01)-74}$ 170-74

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Настоящее издание приурочено к 600-летию со дня смерти Франческо Петрарки (20.VII. 1304 — 19.VII. 1374).

Человечество чтит великого итальянца прежде всего за то, что он, пожалуй, как никто другой, способствовал наступлению новой эпохи, которая, по словам Энгельса, явилась «величайшим прогрессивным переворотом, из всех пережитых до того времени человечеством»¹, эпохи открытия мира и человека, прозванной Возрождением.

Петрарка был первым великим гуманистом, поэтом и гражданином, который сумел прозреть цельность предвозрожденческих течений мысли и объединить их в поэтическом синтезе, ставшем программой грядущих европейских поколений². Своим творчеством он сумел привить этим грядущим разноплеменным поколениям

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 2. Государственное издательство политической литературы. М., 1961, с. 346.

² А. Н. Веселовский. Петрарка в поэтической исповеди «Canzoniere». 1304—1904, СПб., 1912.

Западной и Восточной Европы сознание — пусть не всегда четкое — некоего духовного и культурного единства, благотворность которого сказывается и в современный нам век.

Петрарка — родоначальник новой европейской поэзии. Его знаменитый «Канцоньере», представленный в этой книге избранными сонетами, проторил поэтическим наследникам путь к познанию задач и сущности поэзии: раскрытие внутреннего мира человека, его нравственного и гражданского призвания.

Сонеты подкреплены автобиографической прозой — «Моя тайна» и «Письмо к потомкам» — не только любопытнейшими по собственной своей сути, но и являющимися захватывающим пояснением к «Канцоньере», этому страстному поэтическому посланию к будущим векам.





АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ
ПРОЗА



Переводы с латинского

М. О. ГЕРШЕНЗОНА

Письмо к потомкам



Коли ты услышишь что-нибудь обо мне — хотя и сомнительно, чтобы мое ничтожное и темное имя проникло далеко сквозь пространство и время, — то тогда, быть может, ты возжелаешь узнать, что за человек я был и какова была судьба моих сочинений, особенно тех, о которых молва или хотя бы слабый слух дошел до тебя. Суждения обо мне людей будут многообразны, ибо почти каждый говорит так, как внушает ему не истина, а прихоть, и нет меры ни хвале, ни хуле. Был же я один из вашего стада, жалкий смертный человек, ни слишком высокого, ни низкого происхождения. Род мой (как сказал о себе кесарь Август) — древний. И по природе моя душа не была лишена ни прямоты, ни скромности, разве что ее испортила заразительная привычка. Юность обманула меня, молодость увле-

кла, но старость меня исправила и опытом убедила в истинности того, что я читал уже задолго раньше, именно, что молодость и похоть — суета; вернее, этому научил меня Зиждитель всех возрастов и времен, который иногда допускает бедных смертных в их пустой гордыне сбиваться с пути, дабы, поняв, хотя бы поздно, свои грехи, они познали себя. Мое тело было в юности не очень сильно, но чрезвычайно ловко, наружность не выдавалась красотой, но могла нравиться в цветущие годы; цвет лица был свеж, между белым и смуглым, глаза живые и зрение в течение долгого времени необыкновенно острое, но после моего шестидесятого года оно, против ожидания, настолько ослабло, что я был вынужден, хотя и с отвращением, прибегнуть к помощи очков. Тело мое, во всю жизнь совершенно здоровое, осилила старость и осадилла обычной ратью недугов.

Я всегда глубоко презирал богатство, не потому, чтобы не желал его, но из отвращения к трудам и заботам, его неразлучным спутникам. Не искал я богатством стяжать возможность роскошных трапез, но, питаюсь скудной пищей и простыми яствами, жил веселее, чем все последователи Апиция с их изысканными обедами. Так называемые пирушки (а в сущности, попойки, враждебные скромности и добрым нравам)

всегда мне не нравились; тягостным и бесполезным казалось мне созывать для этой цели других, и не менее — самому принимать приглашения. Но вкушать трапезу вместе с друзьями было мне так приятно, что никакая вещь не могла доставить мне большего удовольствия, нежели их нечаянный приезд, и никогда без сотрапезника я не вкушал пищи с охотою. Более всего мне была ненавистна пышность, не только потому, что она дурна и противна смирению, но и потому, что она стеснительна и враждебна покою. От всякого рода соблазнов я всегда держался вдалеке не только потому, что они вредны сами по себе и не согласны со скромностью, но и потому, что враждебны жизни размеренной и покойной.

В юности страдал я жгучей, но единой и прстойной любовью и еще долъше страдал бы ею, если бы жестокая, но полезная смерть не погасила уже гаснущее пламя. Я хотел бы иметь право сказать, что был вполне чужд плотских страстей, но, сказав так, я солгал бы; одно скажу уверенно, что, хотя пыл молодости и темперамента увлекал меня к этой низости, в душе я всегда проклинал ее. Притом вскоре, приближаясь к сороковому году, когда еще было во мне и жара и сил довольно, я совершенно отрешился не только от мерзкого этого дела, но и от всякого воспоминания о нем, так, как если бы

никогда не глядел на женщину; и считаю это едва ли не величайшим моим счастьем и благодарю Господа, который избавил меня, еще во цвете здоровья и сил, от столь презренного и всегда ненавистного мне рабства. Но перехожу к другим вещам. Я знал гордость только в других, но не в себе; как я ни был мал, ценил я себя всегда еще ниже. Мой гнев очень часто вредил мне самому, но никогда другим. Смело могу сказать — так как знаю, что говорю правду, — что несмотря на крайнюю раздражительность моего нрава, я быстро забывал обиды и крепко помнил благодеяния. Я был в высшей степени жаден до благородной дружбы и лелеял ее с величайшей верностью. Но такова печальная участь стареющих, что им часто приходится оплакивать смерть своих друзей. Благоволением князей и королей и дружбою знатных я был почтен в такой мере, которая даже возбуждала зависть. Однако от многих из их числа, очень любимых мною, я удалился; столь сильная была мне врождена любовь к свободе, что я всеми силами избегал тех, чье даже одно имя казалось мне противным этой свободе. Величайшие венценосцы моего времени, соревнуясь друг с другом, любили и чтити меня, а почему — не знаю: сами не ведали; знаю только, что некоторые из них ценили мое внимание больше, чем я их, вследствие чего их высо-

кое положение доставляло мне только многие удобства, но ни малейшей дозуки. Я был одарен умом скорее ровным, чем пронизательным, способным на усвоение всякого благого и спасительного знания, но преимущественно склонным к нравственной философии и поэзии. К последней я с течением времени охладел, увлеченный священной наукою, в которой почувствовал теперь тайную сладость, раньше пренебреженную мною, и поэзия осталась для меня только средством украшения. С наибольшим рвением предавался я изучению древности, ибо время, в которое я жил, было мне всегда так не по душе, что, если бы не препятствовала тому моя привязанность к любимым мною, я всегда желал бы быть рожденным в любой другой век и, чтобы забыть этот, постоянно старался жить душою в иных веках. Поэтому я с увлечением читал историков, хотя их разногласия немало смущали меня; в сомнительных случаях я руководствовался либо вероятностью фактов, либо авторитетом повествователя. Моя речь была, как утверждали некоторые, ясна и сильна; как мне казалось — слаба и темна. Да и в обыденной беседе с друзьями и знакомыми я и не заботился никогда о красноречии, и потому я искренне дивлюсь, что кесарь Август усвоил себе эту заботу. Но там, где, как мне казалось, самое дело, или место, или

слушатель требовали иного, я делал некоторое усилие, чтобы преуспеть; пусть об этом судят те, пред кем я говорил. Важно хорошо прожить жизнь, а тому, как я говорил, я придавал мало значения: тщетна слава, приобретенная одним блеском слова.

Я родился от почтенных, небогатых, или, чтобы сказать правду, почти бедных родителей, флорентийцев родом, но изгнанных из отчизны,— в Ареццо, в изгнании, в год этой последней эры, начавшейся рождением Христа, 1304-й, на рассвете в понедельник 20 июля.

Вот как частью судьба, частью моя воля распределили мою жизнь доньше. Первый год жизни, и то не весь, я провел в Ареццо, где природа вывела меня на свет, шесть следующих — в Анцизе, в усадьбе отца, в четырнадцати тысячах шагов от Флоренции. По возвращении моей матери из изгнания восьмой год я провел в Пизе, девятый и дальнейшие — в заальпийской Галлии, на левом берегу Роны; Авиньон — имя этому городу, где римский первосвященник держит и долго держал в позорном изгнании церковь Христову. Правда, немного лет назад Урбан V, казалось, вернул ее на ее законное место, но это дело, как известно, кончилось ничем,— и что мне особенно больно,— еще при жизни он точно раскался в этом добром деле. Проживи он немного

дольше, он, без сомнения, услышал бы мои попреки, ибо я уже держал перо в руке, когда он внезапно оставил славное свое намерение вместе с жизнью. Несчастный! Как счастливо мог бы он умереть пред алтарем Петра и в собственном доме! Ибо одно из двух: или его преемники остались бы в Риме, и тогда ему принадлежал бы почин благого дела, или они ушли бы отсюда — тогда его заслуга была бы тем виднее, чем разительнее была бы их вина. Но эта жалоба слишком пространна и не к месту здесь. Итак, здесь, на берегу обуреваемой ветрами реки, провел я детство под присмотром моих родителей и затем всю юность под властью моей суетности. Впрочем, не без долгих отлучек, ибо за это время я полных четыре года прожил в Карпентра, небольшом и ближайшем с востока к Авиньону городке, и в этих двух городах я усвоил начатки грамматики, диалектики и риторики, сколько позволял мой возраст или, вернее, сколько обычно преподают в школах, — что, как ты понимаешь, дорогой читатель, немного. Оттуда переехал я для изучения законов в Монпелье, где провел другое четырехлетие, потом в Болонью, где в продолжение трех лет прослушал весь курс гражданского права. Многие думали, что, несмотря на свою молодость, я достиг бы в этом деле больших успехов, если бы продолжал начатое. Но

я совершенно оставил эти занятия, лишь только освободился от опеки родителей, не потому, чтобы власть законов была мне не по душе — ибо их значение, несомненно, очень велико и они насыщены римской древностью, которой я восхищаюсь, — но потому, что их применение искажается бесчестностью людскою. Мне претило углубляться в изучение того, чем бесчестно пользоваться я не хотел, а честно не мог бы, да если бы и хотел, чистота моих намерений неизбежно была бы приписана незнанию.

Итак, двадцати двух лет я вернулся домой, то есть в авиньонское изгнание, где я жил с конца моего детства. Там я уже начал приобретать известность, и видные люди начали искать моего знакомства, — почему, я, признаюсь, теперь не знаю и дивлюсь тому, но тогда я не удивлялся этому, так как, по обычаю молодости, считал себя вполне достойным всякой почести. Особенно был я взыскан славным и знатнейшим семейством Колонна, которое тогда часто посещало, скажу лучше — украшало своим присутствием, Римскую курию; они ласкали меня и оказывали мне честь, какой вряд ли и теперь, а тогда уж без сомнения, я не заслуживал. Знаменитый и несравненный Джакомо Колонна, в то время епископ Ломбезский, человек, равного которому я едва ли видел и едва ли увижу, увез меня

в Гасконь, где у подошвы Пиренеев в очаровательном обществе хозяина и его приближенных я провел почти неземное лето, так что и донныне без вздоха не могу вспомнить о том времени. По возвращении оттуда я прожил многие годы у его брата, кардинала Джованни Колонна, не как у господина, а как у отца, даже более — как бы с нежно любимым братом, вернее, как бы с самим собою и в моем собственном доме. В это время обуяла меня юношеская страсть объехать Францию и Германию, и хотя я выставлял другие причины, чтобы оправдать свой отъезд в глазах моих покровителей, но истинной причиной было страстное желание видеть многое. В это путешествие я впервые увидел Париж, и мне было забавно исследовать, что верно и что ложно в ходячих рассказах об этом городе. Вернувшись оттуда, я отправился в Рим, видеть который было с детства моим пламенным желанием, и здесь так полюбил великодушного главу той семьи, Стефано Колонна, равного любому из древних, и был так ему мил, что, казалось, не было никакой разницы между мною и любимым из его сыновей. Любовь и расположение этого превосходного человека ко мне остались неизменными до конца его дней; моя же любовь к нему донныне живет во мне и никогда не угаснет, пока я сам не угасну. По возвращении оттуда, буду-

чи не в силах переносить долее искони присущее моей душе отвращение и ненависть ко всему, особенно же к этому гнуснейшему Авиньону, я стал искать какого-нибудь убежища, как бы пристани, и нашел крошечную, но уединенную и уютную долину, которая зовется Запертою, в пятнадцати тысячах шагов от Авиньона, где рождается царица всех ключей Сорга. Очарованный прелестью этого места, я переселился туда с моими милыми книгами, когда мне минуло уже тридцать четыре года.

Мой рассказ слишком затянулся бы, если бы я стал излагать, что я делал там в продолжение многих и многих лет. Коротко сказать, там были либо написаны, либо начаты, либо задуманы почти все сочинения, выпущенные мною,— а их было так много, что некоторые из них еще и до сих пор занимают и тревожат меня. Ибо мой дух, как и мое тело, отличался скорее ловкостью, чем силою; поэтому многие труды, которые в замысле казались мне легкими, а в исполнении оказывались трудными, я оставил. Здесь самый характер местности внушил мне мысль сочинить «Буколическую песнь», пастушьего содержания, равно как и две книги «об уединенной жизни», посвященные Филиппу, мужу всегда великому, который тогда был малым епископом Кавальонским, а теперь занимает высокий пост кардина-

ла-епископа Сабинского; он один еще в живых из всех моих старых друзей, и он любил и любит меня не по долгу епископа, как Амвросий Августина, а братски. Однажды, бродя в тех горах, в пятницу Святой недели, я был охвачен неодолимым желанием написать поэму в героическом стиле о старшем Сципионе Африканском, чье имя по непонятной причине было мне дорого с самого детства. Начав тогда же этот труд с большим увлечением, я вскоре отложил его в сторону, отвлеченный другими заботами; тем не менее поэма, которую я, сообразно ее предмету, назвал «Африкою», была многими любима еще прежде, нежели стала известна. Не знаю, должно ли приписать это моему или ее счастью. В то время как я невозмутимо жил в этих местах, странным образом получил я в один и тот же день два письма — от Римского сената и от канцлера Парижского университета, которые наперерыв приглашали меня, одно в Рим, другое в Париж, для увенчания меня лавровым венком. Ликуя в юношеском тщеславии, взвешивая не свои заслуги, а чужие свидетельства, я счел себя достойным того, чего достойным признали меня столь выдающиеся люди, и только колебался короткое время, кому отдать предпочтение. Я письмом попросил совета об этом у вышепомянутого кардинала Джованни Колонна, пото-

му что он жил так близко, что, написав ему поздно вечером, я мог получить его ответ на следующий день до трех часов пополудни. Следуя его совету, я решил предпочесть авторитет Рима всякому другому, и мои два письма к нему, в которых я высказал свое согласие с его советом, сохранились. Итак, я пустился в путь, и хотя я, по обычаю юноши, судил свои труды крайне снисходительным судом, однако мне было совестно опираться на мое собственное свидетельство о себе или на свидетельство тех, которые приглашали меня и которые, без сомнения, не сделали бы этого, если бы не считали меня достойным предлагаемой почести. Поэтому я решил отправиться сперва в Неаполь и явился к великому королю и философу Роберту, столь же славному своей ученостью, как и правлением, дабы он, который один между государями нашего века может быть назван другом наук и добродетели, высказал свое мнение обо мне. Поныне дивлюсь тому, сколь высокую он дал мне оценку и сколь радушный оказал мне прием, да и ты, читатель, думаю, дивился бы, когда бы знал. Узнав о цели моего приезда, он необыкновенно обрадовался, отчасти польщенный доверием молодого человека, отчасти, может быть, в расчете на то, что почесть, которой я домогался, прибавит крупницу и к его славе, так как я его одного из всех

смертных избрал достойным судьбою. Словом, после многочисленных собеседований о разных предметах и после того, как я показал ему мою «Африку», которая привела его в такой восторг, что он, как великой награды, выпросил себе посвящение ее, в чем я, разумеется, не мог и не хотел отказать ему, он наконец назначил мне определенный день на предмет того дела, ради которого я приехал. В этот день он держал меня с полудня до вечера; но так как круг испытания все расширялся и времени не хватило, то он продолжал то же еще два следующих дня. Так он три дня исследовал мое невежество и на третий день признал меня достойным лаврового венка. Он предлагал мне его в Неаполе и многими просьбами старался вынудить у меня согласие. Но моя любовь к Риму одержала верх над лестными настояниями великого короля. Итак, видя мою непреклонную решимость, он дал мне письмо и провожатых к Римскому сенату, чрез посредство которых изъяснял с большим благоволением свое мнение обо мне. Эта царственная оценка в то время совпадала с оценкою многих и особенно с моею собственной; нынче же я не одобряю ни его, ни моего суждения, ни суждения всех, кто так мыслит; им руководило не столько стремление соблюсти истину, сколько его любовь ко мне и снисхождение к моей молодости. Все-таки

я отправился в Рим и там, хотя недостойный, но твердо полагаясь на столь авторитетную оценку, принял, еще несведущий ученик, лавровый венок поэта среди великого ликования римлян, которым довелось присутствовать при этой торжественной церемонии. Об этом событии существуют и письма мои как в стихах, так и в прозе. Лавровый венок не дал мне знания нисколько, но навлек на меня зависть многих; но и об этом рассказ был бы более долог, нежели допускает здесь место. Итак, оттуда я отправился в Парму, где некоторое время прожил у владетельных синьоров Корреджо, которые не ладили между собою, но ко мне относились в высшей степени милостиво и любезно. Такого правления, каким пользовалось тогда это княжество под их властью, оно никогда не знало на памяти людей и, полагаю, более в наш век не узнает. Я не забывал о чести, выпавшей мне на долю, и беспокоился, как бы не стали думать, что она оказана недостойному. И вот однажды, поднявшись в горы, я чрез речку Энцу невзначай дошел до Сельвапьяна в округе Реджо, и здесь, пораженный необычайным видом местности, я снова принялся за прерванную «Африку»; угасший, казалось, душевный пыл снова разгорелся; я немного написал в этот день и в следовавшие затем дни ежедневно писал понемногу, пока, вернув-

шись в Парму и отыскав себе уединенный и покойный дом, позднее купленный мною и до сих пор принадлежащий мне, в короткое время с таким жаром не довел это произведение до конца, что и сам ныне дивлюсь тому. Оттуда я вернулся к источнику Сорги, в мое заальпийское уединение.

Долгое время спустя, благодаря молве, разносившей мою славу, я стяжал благоволение Джакомо Каррара-младшего, мужа редких достоинств, которому едва ли кто из итальянских государей его времени был подобен, скорее, я уверен, никто. Присылая ко мне послов и письма даже за Альпы, когда я жил там, и всюду в Италии, где бы я ни был, он в продолжение многих лет не уставал осаждать меня своими неотступными просьбами и предложениями своей дружбы, что, хотя я ничего не ждал от великих мира сего, я решил наконец посетить его и посмотреть, что означает эта необыкновенная настойчивость столь значительного, хотя и незнакомого мне человека. Итак, хотя и поздно, и задержавшись по дороге в Парме и Вероне, я отправился в Падую, где этот славнейшей памяти муж принял меня не только человечески-радушно, но так, как в небесах принимают блаженные души, с такою радостью, с такою неоценимой любовью и нежностью, что, не надеясь вполне изо-

бразить их словами, я принужден скрыть их молчанием. Между прочим, зная, что я с ранней юности был привержен к церковной жизни, он, чтобы теснее связать меня не только с собою, но и со своим городом, велел назначить меня каноником Падуи. И если б его жизни было суждено продлиться, моим блужданиям и странствованиям был бы положен конец. Но увы! Между смертными нет ничего длительного, и если случается что-нибудь сладостное, оно вскоре венчается горьким концом. Неполных два года оставив его мне, отечеству и миру, Господь призвал его к себе, потому что ни я, ни отечество, ни мир — говорю это, не ослепляемый любовью, — не стоили его. И хотя ему наследовал его сын, муж редкого ума и благородства, который, следуя примеру отца, всегда оказывал мне любовь и почет, но я, потеряв того, с кем меня более сближало особенно равенство лет, опять вернулся во Францию, не в силах оставаться на одном месте, не столько стремясь снова увидеть то, что видел тысячи раз, сколько с целью, по примеру больных, переменою места утишить мою тоску.



Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру

ВСТУПЛЕНИЕ



Часто и с сокрушением я размышляю о том, как я вошел в эту жизнь и как мне придется уйти из нее. И вот случилось недавно, когда я лежал не объятый сном,— хотя обыкновенно больной дух бывает внезапно охвачен дремотой,— а томимый страхом и в полном сознании, я увидел пред собою женщину неопишемого сияния и блеска. Что это была дева,— обнаруживали ее одежда и лицо. Неведомо как она вошла, и я, ошеломленный необычным светом, не смел поднять глаза навстречу лучам, которые струило солнце ее очей. Войдя, она сказала: «Не трепещи, и пусть невиданное явление не смущает тебя. Я сжалилась над твоим блужданием и издалека сошла сюда, чтобы еще вовремя подать тебе помощь. Довольно, слишком довольно был

доныне прикован к земле твой отуманенный
взор. Если эта смертная юдоль так сильно прель-
щает твои глаза, что же, ты думаешь, будет,
когда ты поднимешь их на вечное?» Выслушав
эти слова, еще не оправившись от страха, я едва
выговорил в ответ дрожащим голосом стих Ма-
рона:

Как величать тебя, дева? Твой вид не подобен обличью
Дщерей земли, ни твой голос — их голосу...¹

«Я — та, — отвечала она, — которую ты с
изысканным изяществом воспел в нашей «Афри-
ке», кому ты, не уступая диркейскому Амфиону,
с удивительным искусством и руками истинного
поэта воздвиг лучезарное и прекрасное жилище
на крайнем западе, на вершине Атласа. Итак,
слушай спокойно и не страшись, видя ту лицом
к лицу, которая тебе давно коротко знакома, что
ты доказал своей сладкогласною песнью». Едва
она кончила речь, я, соображая все признаки,
сразу понял, что говорящая должна быть самой
Истиной, ибо я вспомнил, что именно ее дворец
на вершине Атласа я описал. Но не знал я, из
какой страны она явилась, однако был уверен,
что она могла прийти только с неба. Поэтому,
горячо желая увидеть ее, я поднял глаза, но —
увы! — человеческий взор не мог вынести небес-

¹ Здесь и далее стихи в переводе Вяч. Иванова.

ного света, и я снова потупил глаза. Она, заметив это, после краткого молчания начала опять и опять заговаривать со мною и ничтожными вопросами принудила меня к долгой беседе с нею. Я понял, что это мне вдвойне полезно, так как, во-первых, я становился немного более сведущим, во-вторых, самая беседа успокаивала меня, так что я постепенно получил возможность прямо смотреть на это лицо, которое вначале устало меня своим чрезмерным блеском и которое теперь я мог созерцать без смущения. Объятый дивным очарованием, я не сводил с нее глаз. Когда же я стал озираться, чтобы узнать, привела ли она кого-нибудь с собою или совершенно одна проникла в мое глухое уединение, я увидел рядом с нею престарелого и почтенного мужа величественной наружности.

Не было надобности спрашивать его имя: его благочестивый вид, скромное чело, серьезный взгляд, размеренный шаг, священная одежда и в то же время римское красноречие достаточно ясно обнаруживали в нем преславного отца Августа. К тому же в его облике было нечто столь чарующее и внушительное, чуждое всем другим людям, что я не посмел расспрашивать. Однако я не остался бы безмолвным, я подбирал уже слова вопроса, и они уже готовы были сорваться с моих губ, как вдруг я услышал из уст

Истины то сладкозвучное для меня имя. Обернувшись к нему и прерывая его глубокую задумчивость, она сказала: «Дорогой мне из тысяч Августин, ты знаешь, что этот человек тебе предан, и не тайна для тебя, сколь опасною и долгой болезнью он одержим, которая тем ближе к смерти, чем менее сам больной осознает свой недуг. Поэтому необходимо теперь принять меры к сохранению жизни этого полуживого, каковое дело благочестия никто из людей не может исполнить лучше, чем ты. Ибо он всегда страстно любил твое имя, а всякое учение имеет то свойство, что оно гораздо легче внедряется в душу слушателя любимым наставником; и если нынешнее твое блаженство не заставило тебя забыть бедствия, пережитые тобою в то время, когда ты был заключен в темнице плоти,— ведь и ты перенес многое, подобное тому, что он терпит; а если так, то ты — наилучший целитель изведанных тобою страстей. Поэтому, хотя безмолвное размышление приятнее всех других вещей, прошу тебя — прерви это молчание твоим святым, мне необыкновенно приятным голосом и попытайся, не удастся ли тебе каким-либо способом ослабить столь тяжкий недуг». На это он: «Ты — моя вожатая, Ты — моя советница, утешительница, госпожа и наставница; зачем же Ты велишь мне говорить, когда сама присутствуешь здесь?»

А она: «Пусть ухо смертного поразит человеческая речь: ее он снесет спокойнее. Но дабы он считал сказанным мною то, что от тебя услышит, я буду лично присутствовать». — «Как любовь к больному, — сказал он, — так и почтение к повелевающей заставляют меня повиноваться». Тут, ласково взглянув на меня и отечески обняв, он повел меня в самую уединенную часть дома, причем Истина шла несколько впереди. Там мы все трое сели, и началась долгая беседа с той и другой стороны. Истина же молча взвешивала наши слова, и других свидетелей не было. Так как предмет разрастался, то беседа затянулась на три дня; и хотя в ней было сказано многое против нравов нашего века и о грехах, общих всем смертным, так что эти упреки были обращены, казалось, не столько ко мне, сколько ко всему человеческому роду, однако я глубже запечатлел в своей памяти то, что являлось личным призывом ко мне. Потому-то я и решил столь задушевную беседу воспроизвести письменно, для того чтобы она не исчезла, и ею-то наполнил эту книжку. Не то чтобы я хотел умножить ею число моих сочинений или искал от нее славы, — нет, высшую цель лелеет мой ум: хочу, чтобы ту сладость, которую я однажды вкусил в беседе, я мог так часто вкушать при чтении, как только пожелаю.

И потому ты, моя книжечка, должна избегать людских сборищ и, верная своему имени, довольствоваться моим обществом, ибо ты — моя тайна и так будешь называться, и в часы возвышенных размышлений ты будешь втихомолку напоминать мне все то, что ты запомнишь из сказанного втихомолку. А для того, чтобы не употреблять слишком часто, как говорит Туллий, «сказал я», «сказал он» и чтобы придать беседе такой вид, как будто она ведется тут же присутствующими, я разделил мысли моего славного собеседника и мои не местоимениями, а нашими именами; этот литературный прием я заимствовал у любимого мною Цицерона, который сам перенял его у Платона. Но чтобы не отвлекаться более, вот какими словами он первый заговорил со мною.

НАЧИНАЕТСЯ БЕСЕДА ПЕРВАЯ

А в г у с т и н

Что скажешь, человече? О чем грезишь? Чего ждешь? Или не помнишь, что ты смертен?

Ф р а н ц и с к

Конечно, помню, и всякий раз мысль эта наводит на мою душу смятение.

А в г у с т и н

О, когда б ты в самом деле помнил это, как ты говоришь, и заботился бы о себе! Этим ты значительно облегчил бы и мой труд, ибо неопровержимо верно, что для того, чтобы презирать соблазны этой жизни и сохранять душу спокойною среди стольких мирских бурь, нельзя найти средства более действительного, нежели сознание собственной ничтожности и постоянная мысль о смерти, при условии, что эта последняя не скользила бы поверху, а внедрилась до мозга костей. Я сильно опасаюсь, что в этом деле, как я замечал у многих, ты сам себя обманываешь.

Ф р а н ц и с к

Каким образом, скажи? Мне не очень понятны твои слова.

А в г у с т и н

Ибо из всех ваших дел, о смертные, ни одно не возбуждает во мне такого удивления и содрогания, как то, что вы умышленно поддерживаете ваши бедствия, притворяетесь, будто не видите грозящей опасности, и гоните от себя эту мысль, когда она невольно навязывается.

Ф р а н ц и с к

Как так?

А в г у с т и н

Думаешь ли ты, что сыщется такой сумасброд, который, будучи постигнут опасной болезнью, не желал бы страстно здоровья?

Ф р а н ц и с к

Я никого не считаю столь безумным.

А в г у с т и н

Что же? Думаешь ли ты, что кто-нибудь может быть так нерадив и вял духом, чтобы, желая чего-нибудь всей душою, не добиваться этого всеми силами?

Ф р а н ц и с к

И этого не думаю.

А в г у с т и н

Раз мы с тобой согласны насчет этих двух вещей, мы должны быть согласны и насчет третьей.

Ф р а н ц и с к

Что же это за третья вещь?

А в г у с т и н

Что как тот, кто, в глубоком и сосредоточенном размышлении сознав себя несчастным, желает не быть несчастным и у кого зародилось

такое желание, старается осуществить его,— так тот, кто добивается этого, может и достигнуть. Ибо опытом дознано, что единственной помехою для этого третьего является отсутствие второго, как единственной помехою для второго является отсутствие первого. Таким образом, прежде всего должно существовать то первое, которое есть как бы корень человеческого спасения; вы же, безрассудные, и ты, столь изобретательный на собственную гибель, вы стараетесь вырвать из вашей груди этот спасительный корень всеми арканами земных приманок, что, как я сказал, удивляет и ужасает меня, и потому справедливо терпите двойную кару: и тот корень оказывается исторгнутым, и все остальное становится невозможным.

Ф р а н ц и с к

Спор этот, как я подозреваю, слишком долог и требует многих слов. Поэтому, если угодно, отложим его на другое время и остановимся несколько на предшествующем, пока я смогу увереннее подвигаться к дальнейшему.

А в г у с т и н

Необходимо считаться с твоей медлительностью; поэтому останавливайся всякий раз, когда найдешь нужным.

Ф р а н ц и с к

Я не улавливаю той последовательности, о которой шла речь.

А в г у с т и н

Что здесь темного и какое сомнение явилось у тебя теперь?

Ф р а н ц и с к

Потому что есть множество вещей, которых мы страстно желаем и усердно добиваемся, но к которым никакое усилие, никакое рвение не приблизили и не приблизят нас.

А в г у с т и н

Не спорю, что это верно относительно других вещей, но в отношении того, о чем идет спор, это противоречит истине.

Ф р а н ц и с к

Почему?

А в г у с т и н

Потому что, раз человек желает избавиться от своего жалкого состояния, и желает искренно и сильно,— такое желание не может оказаться безуспешным.

Ф р а н ц и с к

О, что я слышу! Ведь очень мало есть людей, которые бы не чувствовали, что им многого недостает, и которые бы не сознавали себя из-за этого несчастными; насколько это верно, может понять всякий, обратив взор на самого себя. Отсюда следует, что совершенная полнота благ делает человека счастливым, если же одного из них недостает, человек в этом пункте чувствует себя несчастным. Общеизвестно, что все люди желают, но лишь немногие смогли сбросить с себя этот груз своего бедствия. Ибо сколь многих терзают непрестанною скорбью либо телесная немощь, либо смерть близких, либо заключение в темнице, либо изгнание, либо бедность? И мало ли еще существует подобных напастей, которые было бы так же долго перечислять, как их трудно и горько переносить: все они, хотя крайне тягостны для тех, кто их терпит, однако, как видишь, человеку не дано стряхнуть их с себя. Таким образом, по моему мнению, невозможно сомневаться, что многие несчастны помимо и против своей воли.

А в г у с т и н

Приходится вернуть тебя далеко назад и, как обыкновенно поступают с ветренными и отсталыми подростками, то и дело повторять весь ряд

доводов с самого начала. Я считал тебя человеком более зрелого ума и не думал, что ты нуждаешься в столь ребяческих напоминаниях. И точно, если бы ты закрепил в своей памяти те верные и в высшей степени ценные изречения философов, которые ты неоднократно перечитывал вместе со мною, если бы далее — скажу с твоего позволения — ты старался не для других и в чтении стольких книг искал руководства для своей жизни, а не средства стяжать мимолетную хвалу толпы и повода к пустому тщеславию, — ты не стал бы говорить так нелепо и невежественно.

Ф р а н ц и с к

Не знаю, к чему ты ведешь, но уже теперь краска стыда залила мое лицо, и я испытываю то же, что школьники, когда учителя их бранят. Ибо как они, еще прежде чем услышат название совершенного ими проступка, помня за собою многие вины, робеют при первых словах укора, так я, сознавая свое невежество и свои многочисленные заблуждения, хотя еще и не понимаю, куда клонится твоя речь, покраснел прежде, чем ты кончил, потому что знаю, что нет вины, которой нельзя было бы поставить мне в упрек. Итак, прошу тебя, скажи мне яснее, в чем ты укоряешь меня так строго?

А в г у с т и н

Еще во многом другом, кроме того, о чем скажу сейчас; но прежде всего меня возмущает твое предположение, что кто-нибудь может быть или сделаться несчастным против своей воли.

Ф р а н ц и с к

Я перестал краснеть, ибо что можно придумать более истинного, нежели эта истина? Или кто так несведущ в человеческих делах или так далек от всякого общения со смертными, чтобы не знать, что нужда, страдания, бесчестье, наконец, болезни и смерть и прочие напасти такого рода, которые считаются тягчайшими, большею частью постигают людей против их воли, но никогда по их желанию? Откуда явствует, что очень легко знать и ненавидеть собственное несчастье, а вовсе не свергнуть его, ибо первые два — в нашей власти, третье же — во власти судьбы.

А в г у с т и н

Скромностью ты искупил свое заблуждение, но за бесстыдство я сержусь еще больше, чем за заблуждение. Как мог ты забыть все эти заявления философов и святых, что те невзгоды,

которые ты давеча перечислил, никого не могут сделать несчастным? Ибо если одна только добродетель делает душу счастливой,— что доказали и Марк Туллий, и многие другие часто самыми вескими доводами,— то совершенно ясно, что ничто другое не удаляет человека от счастья, кроме того, что противоположно добродетели, а каково оно, это ты можешь вспомнить и без моего указания, если ты не закоснел окончательно.

Ф р а н ц и с к

Конечно, помню. Ты хочешь вернуть меня к предписаниям стоиков, которые противоположны общепринятым мнениям и стоят к отрешенной истине ближе, чем к опыту.

А в г у с т и н

О несчастнейший из всех, раз ты ищешь пути к познанию истины чрез сумасбродства черни и надеешься достигнуть света, следуя за слепыми вожатыми! Ты должен избегать торной дороги, утопанной толпою, и, алкая высшего, избрать путь, отмеченный следами лишь очень немногих, дабы ты удостоился услышать о себе известный стих поэта:

Новою доблестью, отрок, расти! Так взйдешь к светилам.

Ф р а н ц и с к

О, если бы я достиг этого еще до моей смерти! Но продолжай, прошу тебя, ибо я не совсем потерял стыд и не сомневаюсь, что положение стойков следует предпочесть заблуждениям толпы; но я жду, что ты хочешь доказать мне этим.

А в г у с т и н

Раз мы согласились насчет того, что быть или стать несчастным можно только чрез порок,— какие еще нужны слова?

Ф р а н ц и с к

Мне кажется, что я видел многих,— и я сам из того числа,— которых ничто не тяготит в такой степени, как невозможность свергнуть с себя иго своих пороков, хотя они всю жизнь стремятся к этому с величайшими усилиями. Поэтому, не оспаривая положения стойков, можно утверждать, что многие глубоко несчастны помимо своей воли, терзаясь и желая противоположного.

А в г у с т и н

Мы несколько заблудились, но уже незаметно возвращаемся к нашей исходной точке, если только ты не забыл, с чего мы начали.

Ф р а н ц и с к

Едва было не забыл, но теперь начинаю припоминать.

А в г у с т и н

Я задался целью доказать тебе, что для того, чтобы выбраться из тесноты этой смертной юдоли и подняться выше, как бы первой ступенью является размышление о смерти и о жалкой доле человека, второю же — страстное желание и старание подняться; при наличии этих условий, обещал я, легко достигнуть той цели, к которой направлено наше стремление. Или ты и теперь убежден в противном?

Ф р а н ц и с к

Я не осмелился бы сказать, что убежден в противном, ибо с самой юности я возымел о тебе столь высокое мнение, что каждый раз, как взгляды наши расходились, мне было ясно, что заблуждаюсь я.

А в г у с т и н

Прекрати, пожалуйста, лесть; но так как я вижу, что ты привык соглашаться с моими словами не столько по убеждению, сколько из уважения, то даю тебе право говорить все, что тебе заблагорассудится.

Ф р а н ц и с к

Хоть и с трепетом, но воспользуюсь твоим разрешением. Не буду говорить о прочих людях; но беру в свидетели присутствующую здесь, которая неизменно была свидетельницей всех моих поступков, и тебя самого, как часто я размышлял о моем жалком положении и о смерти и сколькими слезами я пытался смыть с себя грязь моей греховности,— но эти попытки, как видишь, доныне оставались бесплодными, о чем я не могу говорить без слез. Это одно и побуждает меня оспаривать истинность твоего положения, будто ни один человек не впал в жалкое состояние иначе, как по своей воле, что несчастен лишь тот, кто хочет быть несчастным,— ибо мой собственный печальный опыт убеждает меня в противном.

А в г у с т и н

Это старая жалоба, и ей никогда не будет конца; и хотя я уже не раз тщетно пытался убедить тебя, я не перестану настаивать, что никто не может ни стать, ни быть несчастным помимо своей воли, но, как я сказал вначале, людям присуща болезненная и пагубная страсть обманывать себя, вреднее которой нет ничего в жизни. Вы справедливо боитесь коварства ваших слуг, во-первых, потому, что доверие к обма-

нывающему не позволяет возникнуть спасительной недоверчивости, во-вторых, потому, что его льстивый голос непрерывно ласкает ваш слух,— два условия, которые в отношении других людей, по-видимому, отсутствуют; насколько же более вы должны были бы опасаться вашей собственной хитрости, где и любовь, и доверие, и близость чрезвычайно велики, ибо всякий ценит себя выше, нежели он стоит, и любит себя больше, нежели должно, и, следовательно, обманутый никогда не отделяется от обманывающего?

Ф р а н ц и с к

Ты часто употреблял сегодня эти слова, но я, насколько помню, никогда не обманывал себя; пусть бы только другие меня не обманывали!

А в г у с т и н

Сейчас ты всего более обманываешь себя, хвалясь, будто никогда этого не делал. Но я не столь низкого мнения о твоём природном уме; я уверен,— размыслив внимательно, ты сам поймешь, что никто не впадает в несчастье иначе, как по своей воле, а ведь спор между нами только об этом. Итак, скажи мне, пожалуйста,— но подумай, прежде чем ответить, и напряги свой дух жаждою не спора, а истины,— скажи мне,

думаешь ли ты, что кто-нибудь грешил по принуждению? Ведь мудрецы утверждают, что грех — добровольное деяние до такой степени, что где отсутствует воля, там нет и греха; а ты уже раньше согласился со мною, что без греха никто не бывает несчастлив.

Ф р а н ц и с к

Вижу, что на последних шагах я постепенно уклонился от наших предпосылок, и вынужден признать, что начало моего несчастья коренилось в моей собственной воле; чувствую это в себе и по сходству предполагаю это относительно других. Но теперь и ты согласишься со мною в одном.

А в г у с т и н

В чем же я должен согласиться?

Ф р а н ц и с к

Если верно, что никто не падает иначе, как по своей воле, то мы должны считать верным и то, что многие, поскользнувшись по своей воле, остаются лежать уже не по своей воле; это я готов с уверенностью утверждать о себе самом и полагаю, что это ниспослано мне в кару, дабы я при всем желании не мог встать, ибо не хотел стоять, когда мог.

А в г у с т и н

Хотя это мнение не совсем нелепо, но раз ты сознал свою ошибку в первом случае, ты неизбежно должен будешь признать, что ошибся и во втором.

Ф р а н ц и с к

Стало быть, ты утверждаешь, что упасть и лежать — одно и то же?

А в г у с т и н

Напротив, это — различные вещи; однако глаголы «желал» и «желаю», хоть и различны по времени, по сути своей и в душе желающего тождественны.

Ф р а н ц и с к

Чувствую, какою сетью ты пытаешься меня опутать; но из двух борцов тот, который стяжал победу ловкостью, — не сильнейший, а только хитрейший.

А в г у с т и н

Мы говорим пред лицом Истины, которой любезна во всем простота, а лукавство противно; и для того, чтобы ты ясно видел это, мы будем отныне продолжать с наивозможной простотою.

Ф р а н ц и с к

Я ничего не мог бы услышать более приятного. Итак, скажи мне,— так как речь шла обо мне,— какими доводами ты докажешь мне, что мое несчастье, которого я не отрицаю, еще и сейчас существует по моей воле, тогда как я, напротив, чувствую, что ничто так не терзает меня, ничто в такой степени не противоречит моему желанию, и, однако, дальше не могу ступить ни шагу?

А в г у с т и н

Если только ты будешь твердо держаться того, что условлено между нами, я покажу тебе, что ты должен был употребить другие слова.

Ф р а н ц и с к

О каком уговоре ты напоминаешь и какие советуешь мне употреблять слова?

А в г у с т и н

Мы условились отвергнуть все козни обмана и с полной искренностью добиваться истины. Что же касается слов, которые ты должен употреблять, то я хотел бы, чтобы ты признался, что вместо слов «не мог» следовало бы сказать «не пожелал».

Ф р а н ц и с к

Мы никогда не кончим, потому что я никогда не признаюсь в этом. Сам я знаю, и ты мне свидетель, сколько раз я хотел и не мог, сколько слез я пролил бесплодно.

А в г у с т и н

Могу свидетельствовать о многих твоих слезах, но о твоей доброй воле — нисколько.

Ф р а н ц и с к

Зову во свидетели небо (из людей, я думаю, никто того не знает), сколько я выстрадал и как страстно желал подняться, если бы только это было возможно.

А в г у с т и н

Умолкни, ибо раньше смешается небо с землею, раньше звезды упадут с неба и восстанут друг на друга ныне дружественные стихии, чем Истина, которая здесь творит суд между мной и тобою, даст себя обмануть.

Ф р а н ц и с к

Что же ты хочешь сказать?

А в г у с т и н

Что сознание часто исторгало у тебя слезы, но воли твоей не меняло.

Ф р а н ц и с к

Сколько раз я повторял, что сделать больше было мне не под силу.

А в г у с т и н

И сколько раз я отвечал, что ты скорее не хотел. Однако я не удивляюсь тебе, что ты блуждаешь теперь по окольным дорогам, на которых я сам мыкался в былое время, когда замышлял вступить на новый путь жизни. Я рвал на себе волосы, бил себя по лбу, ломал пальцы, наконец, обхватив колена руками, наполнял небо и воздух невыразимо горькими вздохами и орошал землю обильными слезами; и однако, среди всей этой горести я оставался тем же, чем был, пока наконец глубокое раздумье не представило мне воочию всю бедственность моего положения. Итак, лишь только я вполне пожелал, я тотчас и смог и с чудесной, благодатной быстротой превратился в другого Августина, чью историю, если не ошибаюсь, ты знаешь по моей Исповеди.

Ф р а н ц и с к

Конечно, знаю и никогда не забуду той спасительной смоковницы, в тени которой совершилось это чудо.

А в г у с т и н

Так и следует; ибо ни мирт, ни плющ, ни Фебом, как говорят, любимый лавр (хотя к нему влечется весь сонм поэтов и более всех ты сам, который один в свой век удостоился носить венки, сплетенный из его листвы) не должны быть милее твоей душе, готовящейся наконец после стольких бурь прибиться в гавань, нежели воспоминание об этой смоковнице, которое знаменует для тебя верную надежду на исправление и прощение.

Ф р а н ц и с к

Не возражаю, продолжай, пожалуйста.

А в г у с т и н

Я продолжаю, с чего начал,— что с тобою доньше случилось то же, что со многими, к которым быть может применен стих Вергилия:

Дух, как твердыня, незыблем; бессильные катятся слезы.

Я мог бы собрать много примеров, но удовольствовался одним, тебе столь знакомым.

Ф р а н ц и с к

И правильно, ибо не нужно было многих примеров, и никакой другой не запечатлелся бы глубже в моей груди, тем более что при всем различии, какое обыкновенно существует между терпящим кораблекрушение и сидящим в безопасной гавани или между счастливым и несчастным, я узнаю среди моих тревожений некоторый след твоего смятения. Оттого каждый раз, когда я читаю твою Исповедь, обуреваемый двумя противоположными чувствами, именно надеждою и страхом, я испытываю — иногда не без слез — такое чувство, будто читаю историю не чужого, а моего собственного странствования. А теперь, после того как я совершенно отказался от желания спорить, продолжай, как найдешь нужным, ибо я готов следовать за тобою, а не идти наперекор.

А в г у с т и н

Не этого я требую; ибо, если, по словам одного великого ученого, «в чрезмерном препирательстве истина тонет», то умеренный спор многих часто приводит к истине. Поэтому не следует, по примеру ленивых и вялых умов, без разбора соглашаться со всем, ни равно с горячностью противиться очевидной истине, что явно свидетельствует о сварливом характере.

Ф р а н ц и с к

Понимаю, и одобряю, и буду пользоваться твоим советом; продолжай.

А в г у с т и н

Итак, признаешь ли ты за истину и за дальнейший шаг вперед высказанную мною мысль о том, что полное сознание своего бедственного положения рождает полную готовность подняться, раз уж хочет лишь тот, кто может?

Ф р а н ц и с к

Я уже решил верить тебе во всем.

А в г у с т и н

Чувствую, что ты и теперь еще что-то скрываешь; скажи откровенно, в чем дело.

Ф р а н ц и с к

Я только дивлюсь, как это я до сих пор не желал того, чего, как мне казалось, я всегда желал единственно.

А в г у с т и н

Ты все еще сомневаешься; но чтобы наконец прекратить этот разговор, я признаю, что ты действительно иногда желал.

Ф р а н ц и с к

Итак, что же?

А в г у с т и н

Не приходит ли тебе на память стих Овидия?
Мало желать: за дело примись, чтоб свершилось желанье.

Ф р а н ц и с к

Понимаю; но мне казалось, что я желал
страстно.

А в г у с т и н

Ты ошибался.

Ф р а н ц и с к

Верю.

А в г у с т и н

А для того, чтобы ты верил твердо, допроси сам свою совесть: она наилучший свидетель добродетели, непогрешимый и точный оценщик дел и помышлений; она скажет тебе, что ты никогда не стремился к спасению как следует, но равнодушнее и спокойнее, чем того требовало сознание стольких грозящих опасностей.

Ф р а н ц и с к

Я начинаю, как ты велишь, допрашивать мою совесть.

А в г у с т и н

Что же ты там находишь?

Ф р а н ц и с к

Что ты говоришь правду.

А в г у с т и н

Ты начинаешь просыпаться, значит, мы несколько подвинулись вперед. Твое положение сразу улучшится, лишь только ты поймешь, как плохо оно было раньше.

Ф р а н ц и с к

Если достаточно только осознать это, то мое положение, надеюсь, вскоре не только улучшится, но станет даже превосходным, ибо я никогда ничего не понимал лучше, нежели то, что я никогда не желал свободы и конца моих бедствий достаточно страстно. Но довольно ли проникнуться желанием?

А в г у с т и н

Для чего?

Ф р а н ц и с к

Для того чтобы мне больше ничего не нужно было делать.

А в г у с т и н

Ты ставишь невозможное условие, чтобы тот, кто страстно желает желаемого, оставался погруженным в дремоту.

Ф р а н ц и с к

Если так, то какая польза в самом желании?

А в г у с т и н

Конечно, путь ведет чрез многие трудности, но уж и влечение к добродетели есть само по себе добрая часть добродетели.

Ф р а н ц и с к

Ты даешь мне основание для большой надежды.

А в г у с т и н

Для того я и беседую с тобою, чтобы научить тебя надеяться и бояться.

Ф р а н ц и с к

Почему бояться?

А в г у с т и н

Скорее, почему надеяться?

Ф р а н ц и с к

Потому что если до сих пор я прилагал немалые усилия для того, чтобы не быть совсем дурным, то ты открываешь мне путь, чтобы стать вполне хорошим.

А в г у с т и н

Но насколько труден этот путь, о том ты, быть может, не догадываешься.

Ф р а н ц и с к

Какой новый страх ты хочешь внушить мне?

А в г у с т и н

Помни, что это самое «желать» всего лишь один глагол, но содержит оно в себе бесчисленные вещи.

Ф р а н ц и с к

Ты повергаешь меня в смятение.

А в г у с т и н

Не говоря уже о том, из чего это желание состоит, сколь многое должно быть истреблено для того, чтобы оно могло возникнуть!

Ф р а н ц и с к

Не понимаю, что ты хочешь сказать.

А в г у с т и н

Это желание ни в ком не может созреть вполне, пока он не искоренил в себе все другие свои желания; а ты понимаешь, как многочисленны и разнообразны вещи, которых человек желает в своей жизни; и все это ты должен предварительно презреть,— только тогда ты можешь взалкать высшего блаженства, ибо мало любит его тот, кто одновременно и не ради него любит еще что-нибудь другое.

Ф р а н ц и с к

Я знаю эту истину.

А в г у с т и н

А как мало найдется людей, которые подавили в себе все страсти,— их же не только подавить, но даже перечислить — долгий труд,— которые наложили на свою душу узду разума,

которые вправе сказать: у меня нет более ничего общего с телом, все, что считается приятным,— мерзость для меня, я жажду высшего счастья!

Ф р а н ц и с к

Такие люди чрезвычайно редки; теперь я понимаю трудность, которою ты мне грозил.

А в г у с т и н

И вот, когда исчезнут страсти, то желание будет полно и свободно от помех; ибо насколько собственное благородство влечет душу к небу, настолько же по необходимости тянут ее вниз бремя плоти и земные приманки, так что вы одновременно и стремитесь ввысь, и желаете оставаться внизу, и не достигаете ни того, ни другого, разрываясь в обе стороны.

Ф р а н ц и с к

Что же, по твоему мнению, надо сделать, чтобы душа, разбив земные оковы, целиком вознеслась горе?

А в г у с т и н

К этой цели безошибочно ведет то размышление, о котором я упомянул вначале, да непрестанная мысль о нашей смертности.

Ф р а н ц и с к

Если я и здесь не обманываю себя, ни один человек не терзается этими заботами чаще меня.

А в г у с т и н

Новый спор и новая добука!

Ф р а н ц и с к

Как? Разве я и в этом случае лгу?

А в г у с т и н

Я предпочел бы выразиться вежливее.

Ф р а н ц и с к

Но в том же смысле?

А в г у с т и н

Да, не в ином.

Ф р а н ц и с к

Значит, я не помышляю о смерти?

А в г у с т и н

По крайней мере, очень редко, и притом так вяло, что эта мысль не проникает до дна твоего злополучия.

Ф р а н ц и с к

Я был убежден в противном.

А в г у с т и н

Обращай внимание не на то, в чем ты был уверен, а на то, в чем должен был быть уверен.

Ф р а н ц и с к

Обещаю отныне более никогда не верить себе, если ты докажешь мне, что я и в этом случае верил себе ошибочно.

А в г у с т и н

Я докажу тебе это очень легко, если только ты решишься искренне признаваться в правде, и сошлюсь в этом деле на свидетеля, которого недалеко искать.

Ф р а н ц и с к

На кого же?

А в г у с т и н

На твою совесть.

Ф р а н ц и с к

Она утверждает противное.

А в г у с т и н

Где поставлен неясный вопрос, там ответ свидетеля вряд ли может быть точным.

Ф р а н ц и с к

Какое это имеет отношение к делу?

А в г у с т и н

Поистине, большое; и для того, чтобы ты ясно понял это, слушай внимательно: нет такого безумца — разве это уже совсем сумасшедший,— который бы не признавал подчас бренности своего существования и который, будучи спрошен, не отвечал бы, что он смертен и обитает бренное тело, потому что об этом свидетельствуют и телесные боли, и лихорадочные припадки, а прожить совершенно свободным от них дано ли кому-нибудь по милости Господа? К тому же и похороны друзей, беспрестанно проходящие пред вашими глазами, вселяют страх в душу созерцающих, ибо, провожая к могиле кого-нибудь из своих сверстников, человек неизбежно содрогается при мысли о бездне, куда смертью внезапно свергнут другой, и начинает тревожиться за себя самого, подобно тому как, увидав жилища своих соседей в огне, ты не можешь оставаться спокойным за собственное жилище, ибо, как говорит Флакк:

Скоро, гляди, к тебе самому подберется опасность.

Еще сильнее будет взволнован тот, на чьих глазах будет внезапно похищен смертью более молодой, более крепкий и более красивый, нежели он сам; он оглянет себя и скажет: «Казалось, ему была более обеспечена жизнь на земле, и однако он изгнан отсюда; не помогли ему ни молодость, ни красота, ни крепость; кто же дал мне ручательство? Бог или какой-нибудь чародей? Конечно, я смертен». И когда то же самое постигает царей и князей земли, людей могучих и грозных, то очевидцы бывают поражены еще сильнее, ибо на их глазах внезапное или длящееся немногие часы смертное томление ниспровергает тех, кто обычно повергал в прах других. И действительно, откуда, как не из этого источника, происходят те поступки, какие совершают при смерти великих людей пораженные ужасом народные толпы и каких много, если помнишь (я хочу кстати вернуть тебя к истории), было совершено при погребении Юлия Цезаря? Это именно — то общее зрелище, поражающее взоры и сердца смертных и наводящее их на мысль о собственной судьбе при виде чужой участи. Прибавь сюда еще ярость зверей и людей, прибавь исступление войн и обрушение больших зданий, о которых кто-то метко сказал, что, быв раньше защитой для людей, они стали для людей опасностью; прибавь бури и ветры в нена-

стве, и чумное дыхание небес, и все эти опасности, которыми вы всюду окружены на суше и на море, так что вы никуда не можете обратить взор, чтобы не увидеть образа смерти.

Ф р а н ц и с к

Пощади меня, я больше не в силах ждать, потому что, думаю, нельзя сказать ничего более действенного с целью подтвердить мою мысль, нежели то, что ты так пространно изложил: я сам, слушая, дивился, куда клонится твоя речь и чем она кончится.

А в г у с т и н

Да она еще и не кончена,— ты ее прервал; мне оставалось сделать следующее заключение: несмотря на то что множество летучих укулов поражает вас со всех сторон, ничто не проникает внутрь достаточно глубоко, ибо сердца несчастных огрубели от долгой привычки и спасительные напоминания отскакивают от затверделой, как мозоль, кожи; а потому ты мало сыщешь людей, достаточно глубоко сознающих, что им неизбежно предстоит умереть.

Ф р а н ц и с к

Значит, немногим известно то определение человека, которое, однако, так часто повторяется во всех школах, что оно, кажется, давно уже должно было не только утомить уши слушающих, но даже сокрушить колонны зданий?

А в г у с т и н

Такова болтливость диалектиков, которой никогда не будет конца; она в изобилии плодит подобного рода определения, налагающие оковы на ум и дающие повод к бесконечным спорам. Если ты спросишь у кого-нибудь из их шайки определения человека или даже любой другой вещи, у него всегда есть готовый ответ; если ты захочешь пойти дальше, он будет молчать или, если он непрерывным разглагольствованием выработал в себе легкость речи и беззастенчивость,— по самому характеру его ответа будет видно, что он лишен ясного представления об определяемой вещи. Этому надменно-презрительному, попусту любопытствующему отродью хочется кинуть в лицо: «Несчастные! К чему вы вечно надрываетесь понапрасну и бессмысленными тонкостями изнуряете свой ум? К чему, забывая самые вещи, вы стареете над словами и с седеющими волосами и морщинистым лбом за-

нимаются ребяческим вздором? Пусть бы, по крайней мере, ваше безумие вредило только вам самим, а не калечило так часто благородные умы молодежи!»

Ф р а н ц и с к

Признаюсь, нельзя с достаточной резкостью порицать этот чудовищный род учености. Однако, увлекшись жаром речи, ты забыл кончить, что начал, об определении человека.

А в г у с т и н

Мне казалось, что я сказал более чем достаточно; но скажу яснее: человек — животное или, скорее, царь всех животных. Нет столь грубого пастуха, который не знал бы этого, а с другой стороны, всякий ребенок, если спросить его, признает, что человек — одаренное разумом и смертное животное.

Ф р а н ц и с к

Это определение известно всем.

А в г у с т и н

Напротив, очень немногим.

Ф р а н ц и с к

Как так?

А в г у с т и н

Если ты увидишь кого-нибудь, в ком разумное начало достигло такой силы, что он свою жизнь располагает согласно с разумом, ему одному подчиняет свои вожеления, его уздою сдерживает движения своей души и понимает, что только разум отличает его от дикого зверя, что и самое имя человека он заслуживает лишь настолько, насколько руководится разумом; главное же, если он так проникнут сознанием своей смертности, что помнит о ней непрестанно, мыслью о ней обуздывает себя и, презирая преходящие земные вещи, жаждет той жизни, где, обрев полноту разума, он перестанет быть смертным,— тогда ты можешь сказать, что в лице этого человека ты получил верное и полезное представление об определении человека. Именно об этом шла у нас речь, и я сказал, что лишь немногие основательно знают это или достаточно размышляют об этом.

Ф р а н ц и с к

До сих пор я считал себя в числе этих немногих.

А в г у с т и н

Я и не отрицаю, что, передумывая в течение всей жизни столь многое, что тебе довелось

узнать частью в школе опыта, частью из чтения книг, ты неоднократно останавливался мыслью и на смерти; но это размышление не проникало в тебя достаточно глубоко и не внедрялось достаточно прочно.

Ф р а н ц и с к

Что ты называешь «глубоко проникать»? Хотя, как мне кажется, я понимаю тебя, но хотел бы, чтобы ты объяснил мне точнее.

А в г у с т и н

Вот в чем дело. Общеизвестно и даже славнейшими из сонма философов засвидетельствовано, что среди вещей, наводящих страх, первенство принадлежит смерти до такой степени, что самый звук слова «смерть» искони кажется человеку жестоким и отталкивающим. Однако недостаточно воспринимать этот звук внешним слухом или мимолетно вспоминать о самой вещи: лучше изредка, но дольше помнить о ней и пристальным размышлением представлять себе отдельные члены умирающего,— как уже холодеют конечности, а середина тела еще пылает и обливается предсмертным потом, как судорожно поднимается и опускается живот, как жизненная сила слабеет от близости смерти,— и эти глубоко запавшие, гаснущие глаза, взор, полный

слез, наморщенный, свинцово-серый лоб, впалые щеки, почерневшие зубы, твердый, заостренный нос, губы, на которых выступает пена, цепенеющий и покрытый коркой язык, сухое небо, усталую голову, задыхающуюся грудь, хриплое бормотанье и тяжкие вздохи, смрадный запах всего тела и в особенности ужасный вид искаженного лица. Все это будет представляться легче и как бы наглядно во всей совокупности, если человек станет внимательно вдумываться в виденную им картину чьей-нибудь памятной смерти, ибо виденное прочнее запечатлевается в памяти, нежели слышанное. Поэтому в некоторых монашеских орденах, притом наиболее благочестивых, еще и в наше время, враждебное добрым обычаям, не без глубокой мудрости соблюдается правило, чтобы послушествующие этому строгому уставу созерцали тела усопших в то время, когда их моют и готовят к погребению, дабы воспоминание о горестном и плачевном зрелище, коего они были очевидцами, служило им вечным предостережением и удерживало страхом их души от всех надежд преходящего мира. Вот что я разумел под словами «глубоко проникать», а не так, как вы случайно, по привычке произносите слово «смерть», вроде того как вы изо дня в день повторяете, что ничего нет более достоверного, нежели смерть, и ничего менее достоверного, не-

жели час смерти, и тому подобное; все это проходит без следа и не укореняется в памяти.

Ф р а н ц и с к

Тем легче соглашаюсь с тобою, что узнаю теперь в твоих словах многое такое, что я часто молча говорю сам себе. Однако впечатлений, если возможно, в моей памяти какой-нибудь знак, который бы отныне предостерегал меня, дабы я не лгал самому себе и не обольщался моими заблуждениями, ибо, сколько я вижу, от стези добродетели отклоняет умы именно то, что люди, признав цель достигнутой, не стремятся дальше.

А в г у с т и н

Мне приятно слышать это от тебя, ибо это — речь не праздного и зависящего от случайностей, а многосторонне-взвешивающего ума. Итак, даю тебе знак, который никогда тебя не обманет: каждый раз, когда, размышляя о смерти, ты останешься неподвижным,— знай, что ты размышлял без пользы, как о любой другой вещи; но если во время самого размышления ты будешь цепенеть, дрожать и бледнеть, если тебе будет казаться, что ты уже терпишь смертные муки; если, сверх того, тебе придет на мысль, что лишь только душа выйдет из этих членов, она должна тотчас предстать на вечный суд

и дать точнейший отчет в своих поступках и словах за всю протекшую жизнь, наконец, что более нечего надеяться ни на телесную красоту, ни на мирскую славу, ни на талант, ни на красноречие, ни на богатство или могущество, что судью нельзя ни подкупить, ни обмануть, ни умиливать, что сама смерть — не конец страданий, а лишь переход к новым; если к тому же ты представишь себе тысячи разнообразных истязаний и пыток, и треск и гул преисподней, и серные реки, и крошечную тьму, и мстительных фурий, наконец, весь ужас темного Орка в целом, и, что превосходит все эти беды, бесконечную непрерывность мучений, и отсутствие всякой надежды на их прекращение, и сознание, что Господь уже более не жалится и гнев его пребудет вовеки; если все это одновременно предстанет твоему взору, не как выдумка, а как действительность, не как возможность, а как необходимость неминуемая и почти уже наступившая, и если ты будешь не мимоходом, а усердно предаваться этим тревогам, и не с отчаянием, а с полной надеждою, что Божья десница властна и готова исторгнуть тебя из всех этих бед, лишь бы ты обнаружил способность к исправлению, и если ты искренно пожелаешь подняться и будешь стоек в своем желании, — тогда будь уверен, что ты размышлял не напрасно.

Ф р а н ц и с к

Признаюсь, ты глубоко потряс меня, нагромоздив пред моими глазами все эти ужасы, но так да дарует мне Господь прощение, как верно то, что я изо дня в день предаюсь этим размышлениям, особенно по ночам, когда дух, освободившись от дневных забот, сосредоточивается в самом себе, тогда я протираю свое тело наподобие умирающего и пристально воображаю себе час моей смерти и все страшное, что ум переживает в тот час, до такой степени, что, мнится,— я уже лежу в агонии; иногда я въявь вижу ад и все то страшное, о чем ты рассказываешь,— и это зрелище так сильно потрясает меня, что я встаю, дрожа от страха, и часто, к ужасу стоящих подле, у меня вырываются такие слова: «Горе мне! Что я делаю? Что терплю? Какой исход бедствий готовит мне судьба? Иисус, помоги:

Сильный, исхить из сих бедствий меня...

Руку злосчастному дай и с собой пронеси через волны, Чтобы хоть в смерти я мог отдохнуть на бреге покоя».

И многое еще в этом роде я говорю сам себе наподобие умалишенных, что исторгает внезапный порыв из расстроенной, потрясенной страхом души, много говорю и с друзьями и своими

рыданиями порой довожу других до слез; а после слез я возвращаюсь к привычному образу жизни. Итак, что же удерживает меня? Какое скрытое препятствие виною, что это размышление донны не дает мне ничего, кроме терзаний и страха? Я остаюсь тем же, каким был раньше и каковы те, с которыми, может быть, никогда в жизни не случилось ничего подобного, только несчастнее их, потому что они, какой бы ни ждал их конец, по крайней мере, сейчас наслаждаются здешними утехами, мой же и конец не обеспечен, и всякая утеха неизбежно облита этой горечью.

А в г у с т и н

Не огорчайся, прошу тебя, когда ты должен радоваться, ибо чем большую сладость и удовольствие нечестивый извлекает из своих грехов, тем более несчастным и жалким должно его считать.

Ф р а н ц и с к

Вероятно, потому, что тот, кто в самозабвении предается непрерывным наслаждениям, никогда не вступит на путь добродетели, тот же, кого среди плотских утех и щедрот фортуны что-то угнетает, — тот вспоминает о своем положении каждый раз, когда непостоянная и безрассудная веселость его покидает. Если же обоих ждет одина-

ковый конец, то я не понимаю, почему не должен считаться более счастливым тот, кто ныне радуется, хотя впоследствии будет скорбеть, нежели тот, кто и теперь не ощущает, и в дальнейшем не ждет радости, разве только тебя смущает мысль, что смех под конец обращается в горшую печаль.

А в г у с т и н

Важнее то, что при падении с равной высоты тяжелее падает тот, кто совсем отбросил узду разума (а в наивысшем наслаждении ее совершенно теряют), нежели тот, кто, хотя бы слабо, еще удерживает ее; главным же образом я имею в виду сказанное тобою раньше: что на обращение одного можно надеяться, на обращение другого — нельзя.

Ф р а н ц и с к

Это, на мой взгляд, верно; но не забыл ли ты между тем мой первый вопрос?

А в г у с т и н

Какой?

Ф р а н ц и с к

О том, что меня удерживает? Я спрашивал, почему напряженное размышление о смерти, которое, по твоим словам, оказывает такое чудесное действие, мне одному не принесло пользы?

А в г у с т и н

Во-первых, потому, что ты рассматриваешь, может быть, как отдаленное то, что частью по причине чрезвычайной краткости жизни, частью ввиду обилия и разнообразия несчастных случайностей не может быть отдаленным; ибо мы почти все, как говорит Цицерон, «делаем ту ошибку, что видим свою смерть вдалеке» (впрочем, некоторые толкователи, или, вернее, жетолкователи, пытались изменить этот текст, ставя отрицание пред глаголом и утверждая, что надо читать: «не видим свою смерть вдалеке»). Однако нет ни одного здравомыслящего человека, который бы вовсе не имел в виду смерти, а видеть издали — по существу то же, что иметь на виду. Одно это уже многих ввело в заблуждение насчет необходимости размышлять о смерти, так как всякий предполагает дожить до того предела, которого хотя и можно было бы достигнуть, но в силу естественных условий достигают лишь очень немногие. Почти к каждому умирающему применимы слова поэта:

Долгие годы себе он сулил и седин украшенья.

Вот что могло тебе вредить, потому что и твой возраст, и крепкое телосложение, и умеренный образ жизни, быть может, внушали тебе эту надежду.

Ф р а н ц и с к

Пожалуйста, не подозревай меня в чем-либо подобном; да сохранит меня Господь от такого безумия.

Чудовищу я ли доверюсь? —

как говорит у Вергилия тот знаменитый мореплаватель. И я, носимый по обширному, грозному, бурному морю, веду через бушующие волны наперекор ветрам мой утлый челн, весь в щелях и готовый рассесться. Я хорошо знаю, что он недолго останется цел, и вижу — мне не осталось никакой надежды на спасение, разве только всемогущий милосердец соизволит; да, напрягши силы, поверну кормило и причалю к берегу, прежде чем погибнуть, дабы, проведя жизнь в открытом море, я мог умереть в гавани. Этому убеждению я обязан тем, что никогда, насколько помню, не сгорал жаждою богатства и могущества, которая на наших глазах сжигает многих людей не только одних лет со мною, но и преклонного возраста, перешагнувших среднюю меру жизни. В самом деле, что за безумие проводить всю жизнь в трудах и бедности, чтобы тотчас умереть среди стольких забот о накоплении богатства! Итак, я размышляю об этих страшных вещах не как о предстоящих в далеком будущем,

а как о предстоящих вскоре, почти уже наступивших. Доселе не изгладился из моей памяти стих, которым я еще в ранней юности, написав другу о многом, заключил письмо:

А пока разглагольствуем так мы,— может быть,
Смерть неприметной тропой уж подкралась к порогу.

Если я мог сказать это тогда, что же я должен сказать теперь, когда я старше и опытом и годами? Все, что я вижу, что слышу, что чувствую, что мыслю, я привожу в связь единственно с этим, и если я не обманываю себя, думая так, то все еще остается в силе мой вопрос: что меня удерживает?

А в г у с т и н

Смиренно благодари Господа, который снисходит обуздывать тебя столь спасительными вожжами и подстрекать столь острыми шпорами, ибо вряд ли возможно, чтобы человек, которого так вплотную изо дня в день преследует мысль о смерти, стал добычею вечной смерти. Но так как ты чувствуешь, и не без основания, что тебе чего-то недостает, то я попытаюсь показать тебе, что это за недостаток, дабы, устранив его, если Бог поможет, ты мог всецело предаться своему благому размышлению и свергнуть старое иго рабства, которое донныне гнетет тебя.

Ф р а н ц и с к

Дай Бог, чтобы это удалось тебе и чтобы я был признан достойным такой милости.

А в г у с т и н

Будешь признан, если пожелаешь, ибо это вполне достижимо. Дело в том, что в человеческих поступках участвуют два начала, и если одно из них отсутствует, то это неминуемо препятствует успеху. Поэтому желание не только должно быть налицо, но оно должно быть еще столь сильно, чтобы его по праву можно было назвать страстным влечением.

Ф р а н ц и с к

Так будет впредь.

А в г у с т и н

Знаешь ли, что вредит твоему размышлению?

Ф р а н ц и с к

Об этом-то я и прошу, это я так давно жажду узнать.

А в г у с т и н

Итак, слушай. Я не отрицаю, что твоя душа прекрасно устроена свыше, но, будь уверен, что благодаря соприкосновению с телом, в коем она заключена, она утратила значительную часть своего первоначального благородства, и больше

того — оцепенела за столь долгий срок и как бы забыла и о своем происхождении, и о своем небесном творце. Мне кажется, что Вергилий превосходно изобразил как страсти, рождающиеся из общения с телом, так и забвение своей чистейшей природы, когда говорил:

Дышит мощь огневая, небесное теплится семя
В чадах земли; но связало ту мощь греховное тело,
Перстная плоть притупила, расслабила смертные члены.
В душах отсюда желанье, и страх, и довольство, и мука —
Сумрак в темнице слепой, и не брезжит эфир
светоносный.

Узнаешь ли ты в словах поэта то четырехглавое чудовище, которое так враждебно человеческой природе?

Ф р а н ц и с к

Узнаю как нельзя яснее четырехчленную страсть души; она состоит из двух частей, сообразно отношению души к настоящему и будущему, и каждая из этих частей, в свою очередь, делится на две новые, сообразно пониманию добра и зла; так, словно в противоборстве четырех ветров, гибнет спокойствие человеческого духа.

А в г у с т и н

Твое наблюдение верно; на нас оправдываются слова апостола: «Тленное тело отягощает душу, и эта земная хранина подавляет многозаботливый ум». Ибо накаплиются без счета

идеи и образы видимых вещей, входят через плотские чувства и, будучи впущены поодиночке, толпами теснятся в недрах души; они-то отягощают и приводят в замешательство душу, не созданную для этого и неспособную вместить так много уродства. Отсюда эта чумная рать химер, которая раздирает и дробит ваши мысли и своим пагубным разнообразием заграждает путь светоносным размышлениям, ведущим к единой высшей цели.

Ф р а н ц и с к

Об этой чуме ты не раз превосходно говорил в различных местах, особенно в сочинении об Истинной вере (которой она, как известно, главная помеха). На эту книгу я недавно напал, отвлекшись от чтения философов и поэтов, и прочитал ее с увлечением, не иначе как если кто, пустившись из любопытства в странствие за пределы своего отечества, вступает в какой-нибудь незнакомый ему знаменитый город и, восхищенный новой для него прелестью места, оставаясь всюду и осматривает все, что, попадает на пути.

А в г у с т и н

Между тем ты можешь убедиться, что эта книга, хотя и в других выражениях (как подобало наставнику католической истины), воспроиз-

водит в значительной мере учение философов, преимущественно Платона и Сократа, и, чтобы ничего не скрыть от тебя, признаюсь, что начать эту книгу побудило меня в особенности одно слово твоего Цицерона. Бог поддержал мое начинание, и немногие семена дали богатую жатву. Но вернемся к нашему предмету.

Ф р а н ц и с к

Охотно, досточтимый отец. Но раньше прошу об одном: не скрой от меня того слова, которое, как ты говоришь, внушило тебе замысел столь прекрасного произведения.

А в г у с т и н

Цицерон, уже проникнутый ненавистью к заблуждениям своего времени, говорит где-то: «Они ничего не умели видеть душою и все сводили к чувственному зрению; но задача всякого сильного духа — отвлекать мысль от чувственных впечатлений и мышление — от привычки». Так сказал он; я же, избрав эти слова как бы фундаментом, построил на нем то произведение, которое, по твоим словам, тебе нравится.

Ф р а н ц и с к

Я знаю это место: оно в «Тускуланских беседах». Я заметил, что в своих сочинениях, здесь и в других местах, ты охотно пользовался этим

изречением Цицерона, и не без основания, потому что оно принадлежит к числу тех, в которых истина сочетается с изяществом и возвышенностью. Но теперь, если тебе угодно, вернись наконец к нашей теме.

А в г у с т и н

Именно эта чума вредила тебе, и если ты не остережешься, она очень скоро погубит тебя, ибо загроможденная своими химерами, подавленная многочисленными и разнообразными заботами, которые непримиримо борются друг с другом, слабая душа не в силах взвешивать, которую из них она раньше всего должна удовлетворить, какую удалить, и всей ее силы и всего времени, отмеренного ей скупой рукою, не хватает ей на столько хлопот. Подобно тому как обыкновенно случается с теми, кто много сеет на тесном месте, что ростки, давя один на другой, мешают друг другу, так и в твоей слишком занятой душе корни не производят ничего полезного и не прозябают ничего плодоносного, и ты беспомощно мечешься то сюда, то туда в странной нерешительности и ничему не отдаешься вполне, всей душою. Поэтому каждый раз, когда дух, способный при благоприятных условиях восстановить свое благородство, обращается к тем мыслям о смерти и ко всему другому, что ведет к жизни,

и по врожденному влечению углубляется в самого себя,— он не в силах удержаться там: толпа разнообразных забот теснит его и отбрасывает назад. Так по причине чрезмерной подвижности гибнет столь благодетельное намерение и возникает тот внутренний раздор, о котором мы уже много говорили, и то беспокойство гневающейся на самое себя души, когда она с отвращением смотрит на свою грязь — и не смывает ее, видит свои кривые пути — и не покидает их, страшится грозящей опасности — и не ищет избегнуть ее.

Ф р а н ц и с к

Горе мне, несчастному! Теперь ты глубоко погрузил руку в мою рану. Там гнездится моя боль, оттуда грозит мне смерть.

А в г у с т и н

В добрый час! Оцепенение покинуло тебя. Но так как наша нынешняя беседа уже достаточно длилась без перерыва, то отложим остальное, если позволишь, на завтра, а теперь немного отдохнем в молчании.

Ф р а н ц и с к

Покой и молчание будут очень кстати при моей усталости.

Кончается Беседа первая.

НАЧИНАЕТСЯ БЕСЕДА ВТОРАЯ

А в г у с т и н

Достаточно ли мы отдохнули?

Ф р а н ц и с к

Как будто бы да.

А в г у с т и н

Каково теперь твоё настроение? И велика ли твоя доверенность? Ибо упование больного — важный залог выздоровления.

Ф р а н ц и с к

На себя мне нечего надеяться; вся моя надежда — на Бога.

А в г у с т и н

Это разумно. Но теперь возвращаюсь к делу. Много тебе досаждают, многое оглушает тебя, и ты сам до сих пор не знаешь, сколь многочисленны и сколь сильны окружающие тебя враги. Как человек, видящий густую рать вдаль, обыкновенно по ошибке презирает малочисленность врагов, но, по мере того как войско подходит ближе и наступающие когорты все раздельнее предстают пред его глазами, ослепляя его блеском своего оружия, его страх растёт и он раскаивается в том, что боялся меньше, чем должно

было,— так, думаю, случится и с тобою, когда я соберу пред твоими глазами беды, осаждающие и теснящие тебя со всех сторон; тебе будет стыдно, что ты меньше огорчился и боялся, чем следовало, и уж не будет тебе казаться странным, что твоя душа, так тесно обложенная, не могла прорваться через неприятельские ряды. Ты, несомненно, увидишь, сколь многими противоположными помыслами была подавлена та благотворная мысль, до которой я стараюсь поднять тебя.

Ф р а н ц и с к

Я трепещу в ужасе, ибо если я всегда признавал, что опасность моя велика, а, по твоим словам, она настолько превышает мою оценку, что, в сравнении с тем, чего мне следовало бояться, я почти совсем не боялся,— то какая мне останется надежда?

А в г у с т и н

Худшее из всех несчастий — отчаяние, и кто предается отчаянию, предается ему всегда преждевременно; поэтому я хотел бы прежде всего внушить тебе, что отнюдь не следует отчаиваться.

Ф р а н ц и с к

Я знал это, но страх отбил у меня память.

А в г у с т и н

Теперь обрати ко мне взор и душу; говоря
словами наиболее любезного тебе поэта,

Сколько народов сошлись,— взгляни! Какие твердыни,
Двери замкнув, на тебя и твоих изощряют железо!

Смотри, какие западни ставит тебе мир, сколько
пустых надежд тебя обуревают, сколько терзает
тебя ненужных забот. Начну с того, что от пер-
вых дней творения ввергало в гибель те благо-
роднейшие души; ты должен всячески заботить-
ся, чтобы не впасть в гибель по их примеру.
Сколь многие вещи уносят твою душу на пагуб-
ных крыльях и после того, как она, под предлогом
своего врожденного благородства, забудет
о своей столько раз доказанной опытом неустой-
чивости, теребят, наполняют и кружат ее, не
позволяют ей думать ни о чем другом и внушают
ей надменную уверенность в своих силах и само-
довольство, доходящее до ненависти к Творцу.
Но хотя бы эти вещи действительно были так
значительны, какими ты их воображаешь, они
должны были бы внушать тебе не гордость,
а смирение, так как ты должен помнить, что эти
редкие блага достались тебе отнюдь не в силу
твоих заслуг. Ибо что делает души подданных
более покорными не скажу вечному, но земному
владыке, как не зрелище его щедрости, вовсе

не вызванной их заслугами? Они стараются тогда добрыми деяниями оправдать милость, которую они должны были бы ранее заслужить. Но теперь тебе будет очень легко понять, как ничтожно все, чем ты гордишься. Ты полагаешься на свой талант, хвалишься начитанностью, восхищаешься своим красноречием и красотой своего смертного тела. Между тем разве ты не видишь, как часто твой талант изменяет тебе во всевозможных делах и как много есть отраслей искусства, в которых ты неспособен сравняться по мастерству с самыми жалкими людьми? Больше того, ты найдешь презренных и ничтожных животных, чьим созданиям ты не в силах подражать при всех усилиях. Теперь попробуй гордиться своими дарованиями! А чтение твое — что было в нем прока? Из того многого, что ты прочитал, многое ли внедрилось в твою душу, пустило корни, принесло зрелые плоды? Вглядись пристально в свою душу — ты убедишься, что все, что ты знаешь, в сравнении с тем, чего ты не знаешь, представляет такое же отношение, как ручеек, высыхающий от летнего зноя, по сравнению с океаном. Да и много знать — на что годится, если, изучив круговращение неба и земли, и протяжение моря, и бег светил, и свойства трав и камней, и тайны природы, вы остаетесь сами себе неизвестными? Если, узнав с помощью

Писания прямой путь на крутизну добродетели, вы даете безумию водить вас вкривь и вкось неверной дорогою? Если, помня деяния всех славных мужей, какие жили когда-либо, вы не заботитесь о том, что сами делаете ежедневно? А о красноречии что я могу сказать, как не то, в чем ты сам должен сознаться,— что в своем расчете на него ты не раз бывал обманут? И какая польза в том, что слушатели, быть может, одобряли твою речь, если твоим же судом она осуждалась? Ибо хотя рукоплескания слушателей кажутся немаловажным успехом красноречия, но если отсутствует внутреннее одобрение самого оратора,— много ли радости может доставить этот площадной шум? Как ты очаруешь своею речью других, ежели не очаруешь раньше самого себя? Для того-то, конечно, подчас тебе не удавалось стяжать красноречием ожидаемой славы, дабы ты на легком примере мог видеть, какими вздорными пустяками ты кичишься. Ибо, спрашиваю тебя, что может быть ребячливее или даже безумнее, как в полной беспечности обо всем другом и в совершенной косности тратить время на изучение слов и, никогда не видя подслеповатыми глазами собственной мерзости, так услаждаться своею речью, подобно иным певчим пташкам, которые, говорят, до того упиваются сладостью собственного пенья, что умирают от это-

го? И, что должно еще более заставить тебя краснеть, не раз случалось с тобою, что ты оказывался бессильным изобразить словами те из вещей обычных и повседневных, которые казались тебе недостойными твоего красноречия. А сколь многое в природе не может быть названо за отсутствием собственного имени? Сколь много сверх того вещей, которые хотя и имеют каждая свое особенное название, но выразить их ценность словами — это чувствуется раньше всякого опыта — красноречие смертных бессильно? Сколько раз я слышал твои жалобы, сколько раз видел тебя безмолвным и негодующим потому, что и язык и перо оказывались неспособными вполне выразить то, что для мыслящего ума было совершенно ясно и легко понятно? Итак, чего же стоит красноречие, раз оно так скудно и хрупко, раз оно и всего не объемлет, и объятю не в силах охватить целиком? Греки обыкновенно упрекают вас в скудости слов, вы, в свою очередь, греков. Правда, Сенека считает их язык более богатым, но Марк Туллий во введении к своему сочинению о пределах блага и зла говорит: «Не могу надивиться, откуда взялось это необычайное презрение ко всему отечественному. Обсуждать это здесь неуместно, но так я думаю и так часто высказывал: латинский язык не только не скуден, как обычно думают, но даже

богаче греческого». То же самое он говорит во многих других местах, а в «Тускуланских беседах» восклицает в ходе рассуждения: «О Греция, вечно считающая себя богатой словами, как ты бедна ими!» И он сказал это с полным убеждением, как человек, сознававший себя первенствующим в латинском красноречии и дерзавший уже тогда оспаривать у Греции славу в этом деле. Вспомним также, что писал в своих «Декламациях» помянутый Сенека, страстный почитатель греческого языка. «Все,— говорит он,— что римское красноречие может противопоставить заносчивой Греции или чем оно превосходит ее,— все расцвело вокруг Цицерона». Это высокая похвала, но, без всякого сомнения, вполне справедливая. Таким образом, как видишь, относительно первенства в красноречии идет большой спор не только между вами и греками, но даже между первейшими из наших ученых, и в этом лагере есть люди, которые стоят за них, как в том лагере иные, может быть, держат нашу сторону, что сообщают, например, о знаменитом философе Плутархе. Наконец, наш Сенека хотя и преклоняется, как я сказал, пред Цицероном, очарованный величием его сладостной речи, но в остальном отдает пальму первенства Греции. Цицерон держится противоположного мнения. Если же ты хочешь знать мое суждение об этих вещах, то я

признаю правыми обе стороны — и тех, кто считает Грецию бедной словами, и тех, кто такую считает Италию. Если так по праву говорят о двух столь знаменитых странах,— на что же могут рассчитывать другие? Подумай, кроме того, как мало ты можешь в этом деле полагаться на свои силы, раз ты знаешь, что вся страна, которой ты лишь ничтожная часть, скудна речью; и тогда тебе станет стыдно, что ты потратил столько времени на дело, в котором полного успеха и невозможно достигнуть, да если бы и было возможно, этот успех был бы совершенно бесплоден. Но перехожу к другим вещам. Ты горд добрыми качествами этого твоего тела? *«И не видишь опасностей, окружающих тебя»*. Но что тебе нравится в твоем теле? Мощьность его или цветущее здоровье? Но усталость, возникающая от ничтожных причин, и приступы разнообразных болезней, и укус крохотного червячка, и самый легкий сквозной ветер, и многое в этом роде доказывают, что ничего нет более хрупкого. Или, может быть, тебя обольщает блеск твоей красоты и, видя цвет своего лица или черты его, ты находишь основание удивляться, восхищаться и радоваться? И не устрасила тебя история Нарцисса, и вид мерзости телесной не научил тебя, как жалок ты внутри, и, довольный благообразием внешней оболочки, ты не простираешь

дальше свой умственный взор? Но и помимо других доводов, которые неисчислимы, уже тревожный бег твоей жизни, ежедневно что-нибудь уносящий, должен был бы яснее дня показать тебе, что и красота — тленный и скоропреходящий цвет. А если бы ты почему-нибудь — чего ты не посмеешь сказать — и считал себя обеспеченным против старости, болезней и всего вообще, что искажает красоту тела, — по крайней мере, ты должен был не забывать того последнего, которое разрушает все дотла, и глубоко запечатлеть в своей душе слова сатирика:

Смерть единая учит,
Как ничтожны людские тела.

Вот, если не ошибаюсь, те вещи, которые, питая твою гордыню, мешают тебе сознавать униженность твоего положения и помнить о смерти. Есть и другие причины, к которым теперь я хочу перейти.

Ф р а н ц и с к

Остановись на минуту, прошу тебя, — иначе, подавленный многочисленностью твоих обвинений, я не смогу оправиться, чтобы дать ответ.

А в г у с т и н

Говори, я охотно подожду.

Ф р а н ц и с к

Не в малое удивление ты поверг меня, поставив мне в упрек многое такое, что, я уверен, никогда не проникало в мой дух. Я ли, по-твоему, полагался на свое дарование? Но поистине единственный признак моего дарования — тот, что я нисколько не доверял ему. Я ли кичусь книжной начитанностью, давшей мне так мало знаний и так много забот? Можно ли сказать, что я домогался ораторской славы, когда, как ты сам упомянул, именно недостаточность слова для выражения моих мыслей возбуждает во мне сильнейшую досаду? Или ты задался целью испытать меня? Потому что ты знаешь, что я всегда сознавал свое ничтожество, и если подчас ставил себя во что-нибудь, то это случалось лишь тогда, когда я видел невежество других, ибо, как я часто говорю, мы дошли до такого положения, что, по известному выражению Цицерона, ценность человека определяется у нас скорее «слабостью других», нежели его «собственной силою». Да если бы и выпали мне на долю обильно те качества, о которых ты говоришь, чем же они так пышно украсили бы меня, чтобы я мог возгордиться? Я слишком хорошо знаю себя и не так легкомыслен, чтобы этот соблазн мог волновать меня. Ибо сколь малую

пользу принесли мне и талант, и знания, и красноречие, раз они ничем не облегчили недугов, терзающих мою душу, на что, помнится, я обстоятельно жаловался в одном письме! А уж что ты как будто серьезно говорил о моих телесных преимуществах, это едва не вызвало у меня смеха. Я ли полагал свою надежду на это смертное и бренное жалкое тело, когда я изо дня в день ощущаю его разрушение? Избави Бог. В юности, признаюсь, я заботился о своей прическе и об украшении своего лица; но вместе с ранними годами эта забота исчезла, и теперь я по опыту знаю, что прав император Домициан, который, говоря о самом себе в письме к другу и жалуясь на чрезвычайную скоротечность телесной красоты, писал: «Знай, что ничего нет приятнее красоты и ничего кратковременнее».

А в г у с т и н

Я мог бы многое возразить на это, но предпочитаю, чтобы тебя пристыдила не моя речь, а твоя совесть. Я не буду действовать упорно и пытку исторгать у тебя слова, но подобно великодушным мстителям удовольствуюсь простым соглашением, а именно попрошу тебя, чтобы ты впредь всеми силами устранял от себя то, чего, по твоим словам, ты избегал донныне;

а если когда-нибудь красота лица начнет соблазнять твою душу,— подумай, какой вид примут вскоре твои члены, которые теперь тебе нравятся, как гадки и отвратительны они будут и сколь ужасными показались бы тебе самому, если бы ты мог тогда их видеть, и часто повторяй себе известные слова философа: «Я рожден для высшего назначения, а не для того, чтобы быть рабом своего тела». Ибо поистине нет большего безумия, как то, что люди, не радея о самих себе, холят члены обитаемого ими тела. Если бы кто-нибудь был на краткое время ввергнут в темную, сырую и зловонную темницу, не стал ли бы он, пока рассудок в нем цел, остерегаться, насколько возможно, всякого соприкосновения со стенами и полом и, ежеминутно готовый к выходу, следить чутким ухом приближение своего освободителя? А если бы он оставил эти предосторожности и, весь обмазанный ужасной грязью темницы, со страхом думал бы о выходе; если бы он усердно и заботливо разрисовывал и украшал окружающие его стены, тщетно стараясь преобразить естественный вид мокрой от сырости кельи,— не должно ли бы по справедливости признать его безумным и жалким? Так и вы, несчастные, знаете и любите вашу темницу и прилепляетесь к ней, хотя вас скоро выведут или, вернее, выволокут из нее, и силитесь изукрасить ее, тогда как

вам следовало бы ее ненавидеть, как ты сам в твоей «Африке» вложил в уста отцу Великого Сципиона эти слова:

Путы мы ненавидим, и внешние цепи страшны нам;
То же, что ныне мы любим — тягчайшие узы свободы.

Прекрасное изречение, только бы ты сам сказал себе то, что заставляешь говорить других. Не могу скрыть, что одно слово, которое ты, может быть, считаешь самым скромным во всей твоей речи, мне кажется наиболее дерзким.

Ф р а н ц и с к

Жалею, если сказал что-нибудь надменное, но если деяниям и речам дает меру душа, беру мою во свидетельницы, что я не сказал ничего дерзкого.

А в г у с т и н

Однако унижать других — гораздо худший вид гордости, чем превозносить себя не по заслугам, и я охотно предпочел бы, чтобы ты прославлял остальных, а себя ставил еще выше их, нежели, чтобы, растоптав всех, ты с неслыханной гордостью выковал из презрения к другим щит для своей скромности.

Ф р а н ц и с к

Прими это как желаешь, но я ни себе, ни другим не придаю большой цены. Мне противно

рассказывать, какое мнение я имею о большинстве людей на основании опыта.

А в г у с т и н

Себя презирать — всего безопаснее, других же — крайне опасно и к тому же вполне бесполезно. Но перейдем к дальнейшему. Знаешь ли, что еще отвращает тебя от цели?

Ф р а н ц и с к

Скажи все что угодно, только в одном не обвини меня: в зависти.

А в г у с т и н

Я хотел бы, чтоб гордость вредила тебе не больше, чем зависть, потому что от этого порока ты, на мой взгляд, свободен. Но я хочу сказать о другом.

Ф р а н ц и с к

Отныне ты не смутишь меня никаким обвинением. Скажи открыто, что заставляет меня блуждать вкривь и вкось?

А в г у с т и н

Жадное стремление к земным благам.

Ф р а н ц и с к

Заклинаю тебя, перестань. Большой нелепости я никогда не слышал.

А в г у с т и н

Ты сразу вышел из себя и забыл собственное обещание. Ведь речь идет уже совсем не о зависти.

Ф р а н ц и с к

Но об алчности, а этот порок едва ли кому более чужд, чем мне.

А в г у с т и н

Ты много оправдываешься, но верь мне,— ты не так свободен от этой заразы, как тебе представляется.

Ф р а н ц и с к

Я-то не свободен от порока алчности?

А в г у с т и н

И даже от честолюбия.

Ф р а н ц и с к

Ну что ж, тесни меня, нагромождай, исполний твою должность обвинителя. Я жду, какую новую рану ты захочешь нанести мне.

А в г у с т и н

Подлинное свидетельство истины ты называешь обвинением и раною? Поистине, прав был сатирик, сказав:

Тот обвинителем станет, кто выскажет истину...—

и не менее справедливы слова комика:

Угодливость родит приязнь, а правда — злость.

Но скажи мне, пожалуйста: к чему эти беспокойства и заботы, гложущие твою душу? Для чего понадобилось тебе в пределах столь короткой жизни строить столь далекие надежды?

Жизни размеренный срок
Нас учит: безумен умысел дальний.

Ты постоянно читаешь это, но оставляешь без внимания. Ты ответишь, вероятно, что тобою руководит в этом деле любовь к друзьям, и стараешься дать красивое имя своему заблуждению. Но какое безумие объявлять войну и ненависть себе самому из желания быть кому-нибудь другом!

Ф р а н ц и с к

Я не так черств и бездушен, чтобы чураться заботы о моих друзьях, особенно о тех, к кому я привязан ради их добродетели или заслуг; ибо

пред одними из моих друзей я преклоняюсь, других уважаю, иных люблю, иных жалею; но, с другой стороны, я и не столь великодушен, чтобы обрекать себя на гибель ради друзей. Разум велит мне, пока я жив, иметь кое-какой запас для дневного пропитания; отсюда мое желание (так как ты мечешь в меня Горациевы копыя, то пусть прикроет меня Горациев щит):

Был бы лишь книг хороший запас да в житнице хлеба
На год,— не жить на авось, не висеть меж надеждой
и страхом.

И так как я хочу, говоря его же словами, «обеспечить себе старость приличную и не чуждую Музам», и так как сильно боюсь превратностей сколько-нибудь долгой жизни, я заблаговременно принимаю меры против того и другого и мешаю с поэтическими занятиями заботы о моих частных делах. Но я делаю это спустя рукава, так что до очевидности ясно, что я лишь по нужде унижаюсь до этих забот.

А в г у с т и н

Вижу, как глубоко внедрились в твое сердце эти мысли, которые должны служить оправданием безумию. Но почему ты не запечатлел в своей душе и этих слов сатирика:

Что мне богатства твои, такую накоплены пыткой?
Это ль еще не безумье, не явное мысли затмение —
Жить всю жизнь в нищете, умереть вождедея богатым?

Вероятно, тебе кажется очень заманчивым умереть на ложе, покрытом пурпурными тканями, лежать в мраморной гробнице и завещать твоим преемникам спор о богатом наследстве; ведь потому вы и жаждете богатства, что оно доставляет эти преимущества. Бесплодный и, верь мне, безумный труд! Рассмотрю в общем человеческую природу, и ты увидишь, что она довольствуется малым, если же ты поразмыслишь о собственной, то едва ли рождался человек, который мог бы удовлетворяться меньшим, когда бы только всеобщее заблуждение не сбило тебя с толку. Есть указание или на общественные нравы, или на характер самого говорящего в словах поэта:

Скучно питает земля: с деревьев плод каменный —
Желудь собираю, кизиль; вырываю травяные корни.

Ты же, напротив, должен признать, что ничего нет вкуснее и приятнее такой пищи, пока ты живешь сообразно своим убеждениям, а не законам безумствующей толпы. Итак, зачем ты мучаешь себя? Если ты будешь мерить по своей натуре, то ты уже давно богат, а стать богатым по оценке толпы ты никогда не сможешь; чего-нибудь всегда будет не хватать, и погоня за недостающим будет вовлекать тебя в бездны страстей. Помнишь ли, как ты некогда наслаждался своей бродячей жизнью в отдаленной усадьбе? То,

прилегши на мураву лугов, ты внимал ворчливому журчанию потока; то, сидя на открытом холме, измерял свободным взглядом простертую пред тобою равнину; то в тени среди палимой солнцем долины одолевал тебя сладкий сон, и ты наслаждался желанной тишиною; и никогда не был празден твой ум, но всегда занят какою-нибудь высокой мыслью, и, сопровождаемый одними Музами, ты никогда не был один; наконец, когда с заходом солнца ты возвращался в свое тесное жилище, довольный своим достоянием, подобно тому старцу, о котором Вергилий говорит:

Был он в душе богаче царей, как вечером, поздно
В дом возвращаясь, столы отягчал некупленным
яством,—

разве тогда ты не считал себя без сравнения самым богатым и самым счастливым из смертных?

Ф р а н ц и с к

Увы, теперь я уверен в этом и, вспоминая то время, вздыхаю.

А в г у с т и н

О чем ты вздыхаешь и кто, безумный, вверг тебя в эту скорбь? Виною твой собственный дух, ибо ему стало стыдно подчиняться так долго

законам своей природы и он полагает, что не разбил оков своего рабства; он-то увлекает тебя неистово и, если ты не затянешь узды, ввергнет тебя в смертную гибель. Лишь только тебе начали приедаться плоды твоих деревьев, лишь только ты стал гнушаться простой одеждой и обществом сельских жителей, ненасытная алчность снова бросила тебя в шумный водоворот городов. Как привольно, как спокойно ты живешь здесь, это видно по твоему лицу и твоим речам. И точно, каких страданий ты не видел здесь? Но, упорно пренебрегая печальным опытом, ты все еще колеблешься, вероятно, потому, что ты опутан сетями грехов, и потому, что Господу угодно, чтобы ты там же по собственной воле промотал свою жалкую старость, где под эгидой наставника протекло твое детство. Я был с тобою, когда еще отроком ты не знал никакой алчности, никакого честолюбия и подавал надежду стать великим человеком. С тех пор твой нрав переменялся, несчастный! И теперь, чем более ты приближаешься к исходу, тем усерднее ты копишь деньги на дорогу. Чем же это кончится? Очевидно, тем, что смертный час, который, может быть, уже близок для тебя и, наверное, не может быть далек, застанет тебя, полуживого, но все еще снедаемого жаждою золота, склонившимся над счетной книгою, ибо то, что возрастает с каждым

днем, неизбежно должно в последний день достигнуть наивысшей степени и превзойти меру дозволенного.

Ф р а н ц и с к

Что же преступного в том, что, предвидя бедную старость, я заранее собираю запас на усталые годы?

А в г у с т и н

Какая смешная заботливость и какое безумное нерадение — с тревогой заранее думать о возрасте, которого ты, может быть, вовсе не достигнешь или в котором проживешь лишь самое краткое время, и забывать о том часе, который неизбежно наступит, и наступит невозвратно! Но таков ваш мерзкий обычай: печетесь о преходящем, а вечным пренебрегаете. Что же касается того, что ты стараешься оправдать твое заблуждение страхом бедности на склоне лет, то это ввнушил тебе, я думаю, стих Вергилия:

И муравей хлопотливый, боящийся старости нищей,—
его-то ты взял себе в образец, что и простительно
ввиду слов сатирика:

И хлада и глада,
Как муравей, их учитель запасливый, трусят заране.

Но если ты не всецело предался муравьиной науке, ты можешь понять, что нет ничего более жалкого и безрассудного, как всю жизнь терпеть бедность, чтобы не терпеть ее когда-нибудь после. Не думай, впрочем, что я предлагаю тебе бедность. Вовсе нет, но лишь переносить ее, если человеческой судьбе это будет угодно. Думаю, что во всяком положении не следует бросаться в крайности. Поэтому я не приглашаю тебя следовать примеру тех, кто говорит: «Для поддержания человеческой жизни достаточно хлеба и воды; с ними человек не беден; кто ими удовлетворяет свои желания, тот счастьем равен Юпитеру». Я не ограничу средний уровень человеческих потребностей речной водою и дарами Цереры; эти пышные изречения оскорбляют человеческий слух и издавна нестерпимы. Нет, сниходя к твоей немощи, я учу тебя не изнурять, а лишь обуздывать свое естество. Твоего имущества достало бы на твои неотложные потребности, если бы ты сам довел себе; а теперь ты сам виною той нужды, которую ты терпишь. Ибо с умножением богатства умножаются потребности и заботы; эта истина уже столько раз высказывалась, что не нуждается в дальнейших доказательствах. Какое странное заблуждение и какая печальная слепота, что человеческий дух, вопреки своей прекрасной природе и своему небесному

происхождению, пренебрегая небесным, жаждет земных металлов! Прошу тебя, подумай об этом серьезно и напряги твой умственный взор, дабы не застил ему истины блеск золота, сверкающий кругом. Каждый раз, когда, влекомый крючьями любостяжания, ты спускаешься от своих высоких забот к этим низменным, разве ты не чувствуешь, что ты сброшен с неба на землю и низвергнут с далеких звезд в глубочайшую пропасть?

Ф р а н ц и с к

Разумеется, чувствую, и невозможно сказать, как больно я ушибаюсь, падая.

А в г у с т и н

Почему же многократный опыт не устрашает тебя и, поднявшись на высоты, ты не утверждаешь там прочнее своей стопы?

Ф р а н ц и с к

Я силюсь всячески, но так как закон человеческой природы противоборствует моим усилиям, то я невольно срываюсь. Мне думается, не без основания древние поэты посвятили двойную вершину Парнаса двум богам, затем, чтобы молиться Аполлону, которого они называли богом духа, о подаче внутренней, душевной крепости, Вакху же — об удовлетворении их внешних

потребностей. Эту мысль внушили мне не только уроки моего личного опыта, но и многочисленные свидетельства самых ученых людей, перечислением которых нет нужды докучать тебе. Поэтому, хотя вера в целую толпу богов и смешна, но это мнение поэтов не вовсе неразумно, и, применяя его к единому Богу, от которого исходит всякая благопотребная помощь, я едва ли уклоняюсь от здравого смысла. Или ты думаешь иначе?

А в г у с т и н

Не отрицаю, что ты прав, но мне досадно видеть, как неравно ты делишь свое время. Когда ты целиком посвящал свою жизнь достойным трудам, и если по нужде тебе приходилось тратить сколько-нибудь времени на другие заботы, ты называл это время потерянным; а теперь ты уделяешь прекрасному лишь тот досуг, какой оставляют тебе заботы любостяжания. Кто пожелал бы достигнуть зрелого возраста, раз он так меняет стремления людей? Но где конец и где мера? Назначь себе предел, и когда достигнешь его, остановись и отдохни наконец. Ты знаешь, что эти слова, исходящие от человека, содержат в себе вещую мудрость:

Жадный беден всегда. Знай цель и предел вожделенья.

Какова же конечная цель твоих вожделений?

Ф р а н ц и с к

Не терпеть нужды и не иметь излишка, не повелевать другими и не быть в подчинении — вот моя цель.

А в г у с т и н

Для того чтобы ни в чем не нуждаться, ты должен был бы стряхнуть с себя человеческое естество и стать Богом. Разве ты не знаешь, что из всех живых существ человек имеет наиболее нужд?

Ф р а н ц и с к

Я очень часто слышал это, но хотел бы возобновить в своей памяти.

А в г у с т и н

Взгляни на него, как он, наг и безобразен, с криком и плачем рождается, как несколько капель молока успокаивают его, как он дрожит и ползает и не может обойтись без чужой помощи, как бессловесные животные питают и одевают его; как он хрупок телом и душой неспокоен, осаждаем всевозможными болезнями и подвержен бесчисленным страстям, как он нерешителен, как обуреваем то радостью, то печалью,

как немощен волею и неспособен обуздывать свои вожеления, как не ведает, что и в каком объеме ему полезно, где мера в пище и питье. Телесную пищу, которая для остальных живых существ лежит открыто, он принужден добывать тяжким трудом; от сна он тяжелеет, от еды его пучит, напитки делают его несдержанным, бдение ослабляет его, голод истощает, жажда сушит; он и жаден и робок; что имеет, на то глядит с отвращением, а потеряв, оплакивает, озабочен сразу и настоящим, и прошедшим, и будущим, полн гордыни в унижении своем, хотя знает свою бренность; он более жалок, чем ничтожнейший червь; век его краток, жизнь ненадежна, удел неизбежен, и смерть грозит ему в тысяче форм.

Ф р а н ц и с к

Ты нагромоздил бесчисленные беды и лишения, так что человеку почти приходится жалеть, что он родился человеком.

А в г у с т и н

И вот, несмотря на такую немощность и бедность человека, ты мечтаешь приобрести богатство и могущество, каких не достигал еще ни один кесарь, ни один король.

Ф р а н ц и с к

Кто употребил эти слова? Кто говорил о богатстве и могуществе?

А в г у с т и н

Но есть ли большее богатство, как не нуждаться ни в чем? Есть ли большее могущество, как не быть никому подчиненным? Ибо короли и владыки земли, которых можно считать богаче всех, конечно, терпят нужду в бесчисленных вещах; даже полководцы находятся в зависимости от тех, над которыми они с виду начальствуют: когда окружают их вооруженные легионы,— они, внушающие этими легионами страх, в свою очередь, не могут не бояться их сами. Поэтому перестань надеяться на невозможное и, довольствуясь человеческой долей, учись и жить в изобилии, и нуждаться, и начальствовать, и подчиняться; и не мечтай таким способом, пока ты жив, свергнуть иго судьбы, которое давит и шею королей, и знай, что ты лишь тогда избавишься от него, когда, подавив в себе человеческие страсти, ты всецело отдашься во власть добродетели. Тогда-то свободный, не подчиненный никому из людей и ни в чем не нуждаясь, ты наконец будешь истинно могучим, совершенно счастливым владыкой.

Ф р а н ц и с к

Я уже раскаиваюсь в своем решении и хочу ничего не хотеть; но дурная привычка владеет мною, и я вечно чувствую какую-то неудовлетворенность в сердце.

А в г у с т и н

Именно это — я возвращаюсь к предмету нашей беседы, — именно это отвлекает тебя от размышления о смерти. Пока тебя одолевают земные заботы, ты не поднимаешь глаз к вечному. Если ты сколько-нибудь веришь мне, ты сбросишь с себя эти заботы, которые тяготеют над душою как смертоносное бремя; и тебе будет нетрудно свергнуть их, лишь бы только ты сообразовался со своей натурою и предоставил ей, а не безумству толпы вести и направлять себя.

Ф р а н ц и с к

Я готов, да будет так. Но мне уже давно хочется узнать, что же ты все-таки думаешь о честолюбии.

А в г у с т и н

Зачем ты спрашиваешь меня о том, что ты сам можешь себе уяснить? Исследуй свое сердце,

и ты увидишь, что среди других твоих пороков честолюбие занимает не самое малое место.

Ф р а н ц и с к

Значит, тщетно я по мере возможности избегал городов, презирал толпу и общественные дела, уединялся в лесах, скрывался в безмолвье полей, обнаруживал отвращение к суетным почестям: меня все еще обвиняют в честолюбии!

А в г у с т и н

Вы, смертные, от многого отказываетесь не потому, что презираете вещь, а потому, что теряете надежду достигнуть желаемого; ибо надежда и желание взаимно подстрекают друг друга, так что когда одно холодеет, то и другое стынет, и когда одно разгорается, то закипает другое.

Ф р а н ц и с к

Что же, скажи, мешает мне надеяться? Разве я до такой степени лишен способности к искусствам?

А в г у с т и н

Я ничего не говорю о способности к искусствам, но, конечно, тебе недостает тех дарований,

при помощи которых теперь главным образом достигают высоких степеней,— уменья лестью втираться к сильным мира сего, искусства обманывать, обещать, лгать, притворяться и скрывать, переносить всяческие обиды и поношения. Лишенный этих и подобных им дарований и зная, что тебе не удастся преодолеть твою натуру, ты перешел к другим занятиям; и в этом ты поступил предусмотрительно и разумно, ибо, как говорит Цицерон, «противиться природе — разве не то же, что по примеру гигантов бороться с богами?»

Ф р а н ц и с к

Прочь высокие почести, если они достигаются этими средствами!

А в г у с т и н

Хорошо сказано; но ты еще не вполне доказал мне свою невинность, так как ты не вправе утверждать, что не желал почестей, хотя тебя и пугает тягость их добывания, подобно тому как о человеке, который, убоявшись трудностей пути, вернулся с полдороги, нельзя сказать, что он признал неинтересным видеть Рим. К тому же ты и не вернулся вспять, как ты уверил себя и силишься меня уверить. Не прячься напрасно; все твои мысли и все дела открыты предо мною,

и твоя похвальба насчет бегства из городов и нежной любви к лесам не оправдание, а только перелицовка твоей вины. Ибо многие пути ведут к одной и той же цели, и верь мне,— хотя ты и покинул торную дорогу, протоптанную толпою, но ты стремишься по окольной тропинке к той же честолюбивой цели, которую ты, по твоим словам, презрел и к которой ведут тебя и твоя покойная жизнь, и уединение, и равнодушие к столь многим человеческим делам, и эти самые твои труды, до сих пор неизменно венчающиеся славой.

Ф р а н ц и с к

Ты хочешь прижать меня к стене; правда, я мог бы увернуться, но так как времени мало и его приходится делить на многое, то, если можно, перейдем к дальнейшему.

А в г у с т и н

В таком случае следуй за вожатым. О чревоугодии у нас вовсе не будет речи, так как ты нисколько не склонен к нему, разве только подчас выбьет тебя из колеи приятная пирушка в кругу друзей, враждебная умеренности. Но с этой стороны я не предвижу опасности, ибо, лишь только вырвавшись из городов, ты вернешься в привычную сельскую жизнь, все соблазны подобных наслаждений тотчас исчезнут, а вдали от них,

как я заметил, ты живешь, признаюсь, так, что я радуюсь твоей воздержанности и умеренности, в которой не могут сравниться с тобою ни твои личные, ни наши общие друзья. Умолчу также о гневе, ибо хотя ты часто распаляешься им более, чем должно, но, благодаря твоей врожденной доброте и мягкости, ты обыкновенно тотчас смиряешь свое возбуждение, помня совет Горация:

Гнев — безумье на час. Обуздывай нрав. Не владеешь
Им — овладел он тобой. Полони ж, истомы его в узах.

Ф р а н ц и с к

Признаюсь, эти слова поэта и многие подобные советы философов принесли мне некоторую пользу, но более всего помогала мне мысль о том, что жизнь коротка, ибо какое исступление — тратить на ненависть к людям и на их пагубу те немногие дни, какие мы проводим среди них! Внезапно наступит последний день, — он погасит это пламя в людских сердцах, положит конец ненависти и, если мы не желаем нашему недругу ничего худшего, чем смерть, исполнит наше злое пожелание. Какой же смысл толкать к гибели себя и других? Зачем терять лучшую часть столь краткого времени? Когда даже при самой бережливой трате нам едва хватает отмеренных дней на пристойные радости настоящего

и на размышления о будущей жизни, зачем же отнимать их от дел нужных и естественных и употреблять на горе и гибель себе и другим? И так полезно было мне это размышление, что, получив толчок, я не совсем падал, а если и падал, тотчас вставал на ноги. Однако донныне никакое усилие не могло привести к тому, чтобы я вовсе не был волнуем бурными дуновениями гнева.

А в г у с т и н

Но так как я нисколько не боюсь, что эти бурные дуновения причинят кораблекрушение тебе или кому-либо иному, то я охотно соглашаюсь, чтобы ты в этом деле довольствовался послаблениями перипатетиков, раз тебе не по силам принципы стоиков, обещающих с корнем вырвать все болезни души. Итак, оставляя пока в стороне этот предмет, я спешу перейти к вещам более опасным, требующим от тебя гораздо большей предусмотрительности.

Ф р а н ц и с к

Милостивый Бог! Что же остается еще более опасного?

А в г у с т и н

Как пламенеешь ты жаром сладострастия!

Франциск

Порою так сильно, что горько жалею, зачем я не родился бесчувственным. Я предпочел бы быть неподвижным камнем, нежели игралищем многочисленных влечений моего тела.

Августин

Итак, ты знаешь, что, пожалуй, более всего отвлекает тебя от размышлений о божественном. Ибо что другое предписывает нам небесное учение Платона, как не удалять душу от плотских похотей и подавлять фантастические грезы, дабы она чистою и свободною поднималась к созерцанию божественных тайн, с которым нераздельно связано размышление о собственной бренности. Ты знаешь, о чем я говорю; эти вещи близко знакомы тебе по книгам Платона, которые, по твоему недавнему признанию, ты жадно изучал.

Франциск

Я изучал их, признаюсь, с горячей надеждой и большим рвением, но новизна чужеземного языка и внезапный отъезд наставника принудили меня оставить мое намерение. Однако упомянутое тобою учение мне хорошо знакомо как по твоим сочинениям, так и по сообщениям других платоников.

А в г у с т и н

Не важно, от кого ты узнал эту истину, хотя авторитет учителя часто много значит.

Ф р а н ц и с к

Особенно для меня — авторитет того, о ком глубоко запали мне в душу слова, сказанные Цицероном в «Тускуланских беседах». «Если бы,— говорит он,— Платон и никакого не приводил довода,— я так высоко ценю его, что он убедил бы меня одним своим авторитетом». Мне же — а я часто размышляю о его божественном гении — показалось бы несправедливым, если бы Платону вменили в обязанность представлять доводы, тогда как пифагорейцы не обременяют этим вождя своей школы. Но чтобы не отвлекаться далее от предмета, и его авторитет, и собственный разум, и опыт издавна до такой степени освоили меня с этой мыслью Платона, что я не сомневаюсь: ничего не может быть сказано ни более верного, ни более благочестивого. Ибо по временам, когда Господь подавал мне руку, я поднимался настолько, что постигал с какою-то необычайной и безмерной радостью, что мне в те минуты было на пользу и что раньше — во вред; и ныне, когда я собственной тяжестью низринут в прежнее унижение, я с великой горечью чувствую, что меня сызнова погубило.

Говорю это затем, чтобы ты не удивлялся моим словам, что я на опыте проверил это положение Платона.

А в г у с т и н

Я и не удивляюсь, ибо я был свидетелем твоих усилий, видел тебя и падающим и встающим и теперь, когда ты повержен, хочу из жалости помочь тебе.

Ф р а н ц и с к

Благодарю тебя за столь жалостливое чувство; но чего еще я могу ждать от человеческой помощи?

А в г у с т и н

От человеческой — ничего, но от божественной — очень многого. Воздержным может быть лишь тот, кого Бог сподобит; следовательно, от него надо домогаться этой милости, притом в особенности со смирением и часто со слезами. Он обыкновенно не отказывает в том, чего у него просят пристойно.

Ф р а н ц и с к

Я делал это так часто, что почти боюсь стать ему в тягость.

А в г у с т и н

Но ты просил без достаточного смирения и без должной вдумчивости; ты всегда оставлял про запас местечко для будущих страстей, всегда предуказывал своим молитвам отдаленный срок. Говорю это на основании опыта, ибо так бывало и со мною; я говорил: дай мне целомудрие, но не сейчас; подожди немного, скоро наступит время; еще моя жизнь в цветущем возрасте, пусть она идет своими путями, повинуется своим законам, ибо больше срама будет, если она вернется к этим юношеским влечениям; посему лучше я откажусь от этого, когда с годами сделаюсь менее способным на то и когда, пресытившись наслаждениями, я буду обеспечен против взврата похоти. Разве ты не понимаешь, что, говоря так, ты просишь одного, а желаешь другого?

Ф р а н ц и с к

Каким образом?

А в г у с т и н

Потому что просить для будущего — значит пренебрегать в настоящем.

Ф р а н ц и с к

Я часто со слезами просил для настоящего, в двойной надежде, что, порвав сети плотских

страстей и поправ мерзость жизни, я останусь невредим и, обуреваемый столь многими ненужными заботами, как бы вплавь доберусь до какой-нибудь спасительной гавани. Но ты знаешь, сколько раз я затем терпел кораблекрушение у тех же скал и сколько раз еще буду терпеть, если буду предоставлен собственным силам.

А в г у с т и н

Верь мне, твоим молитвам всегда чего-то недоставало, иначе верховный даятель либо исполнил бы твою просьбу, либо отказал бы тебе, как отказал апостолу Павлу, с целью усовершенствовать тебя в добродетели и изобличить твою слабость.

Ф р а н ц и с к

Верю, что так, и все же буду молиться усердно и неустанно, не краснея и не отчаиваясь,— может быть, Всемогущий сжалятся над моими муками, склонит слух к моим ежедневным мольбам и сам оправдает их, как он не отказал бы им в своей милости, будь они праведны.

А в г у с т и н

Однако старайся сам совершенствоваться и, подобно тому кто повержен наземь, озираай, при-

поднявшись на локте, грозящие тебе кругом беды, дабы какая-нибудь тяжесть, внезапно упав, не раздробила твоих распростертых членов; и тем временем неослабно моли того, в чьей власти послать тебе помощь: может быть, он подоспеет как раз тогда, когда ты будешь думать, что он далеко. Одно помни всегда — то глубоко верное изречение Платона, о котором у нас была речь: что познанию Божества ничто не противодействует больше, нежели плотские влечения и воспаленная похоть. Итак, постоянно тверди себе эту истину; в ней сущность нашего решения.

Ф р а н ц и с к

Дабы ты видел, как сильно я возлюбил эту истину, скажу тебе, что я ласкал ее не только в ее доме, где она всегда пребывает, но жадно ловил ее также в чужих лесах, когда она скрывалась там; я запомнил и место, где она предстала моим очам.

А в г у с т и н

Я жду — что ты хочешь сказать?

Ф р а н ц и с к

Ты знаешь, чрез какие опасности провел Вергилий своего неустрашимого героя в ту последнюю страшную ночь, когда пала Троя.

А в г у с т и н

Знаю, конечно; это известно каждому школьнику. Он заставляет самого героя рассказывать его приключения.

Кто той ночи расскажет побоище? Кто перечислит
Падших? Кто плачем достойным труды страстные
оплачет?
Древний рушится град, искони великодержавный.
Усланы стогна телами мужей бездыханных; и трупов
Полны дома; и пороги святилищ завалены мертвых
Грудами. Но не одни истекают кровию Тевкры:
Вдруг побежденных сердца обуяет прежняя доблесть,—
Гибнут Данаи от них, победители. Пагуба всюду,
Ужас, жестокая скорбь и в бесчисленных ликах —
одна Смерть.

Ф р а н ц и с к

И вот, пока он бродил в сопровождении Венеры среди врагов и пожара, он, хотя и с открытыми глазами, не мог видеть гнева оскорбленных богов и, слушая ее, понимал лишь земное; но едва она удалилась,— ты знаешь, что случилось,— как он тотчас увидел разгневанные лица богов и понял все грозившие ему опасности:

Грозные лики очам предстоят и враждебные Трое
Призраки гневных божеств.

Отсюда я заключил, что общение с Венерой лишает нас возможности созерцать Божество.

А в г у с т и н

Ты прекрасно разглядел солнце за облаками. Так, есть истина в вымыслах поэтов, и можно по самому мелкому ручейку добраться до нее. Но так как нам надо будет вернуться к этому предмету, то отложим остальное на конец.

Ф р а н ц и с к

Для того чтобы я знал, какими тропами ты поведешь меня, скажи, куда ты обещаешь вернуться со мною?

А в г у с т и н

Я еще не коснулся главных ран твоей души, и я с умыслом откладывал это, дабы сказанное под конец прочнее укоренилось в памяти. О другом из тех плотских влечений, которые мы здесь затронули, нам придется в дальнейшем говорить подробнее.

Ф р а н ц и с к

Итак, веди меня куда хочешь.

А в г у с т и н

Если ты не будешь бесстыдно упрям, нам больше не о чем спорить.

Ф р а н ц и с к

Ничто не радовало бы меня больше, как если бы с земли исчез всякий повод к спору.

И сам я всегда лишь неохотно спорил даже о вещах, которые были мне как нельзя лучше известны, ибо спор даже между друзьями имеет в себе что-то грубое, неприязненное и противное дружеским отношениям. Но перейдем к тому, насчет чего, по твоему мнению, я тотчас соглашусь с тобою.

А в г у с т и н

Ты одержим какою-то убийственной душевной чумою, которую в новое время зовут *acidia*¹, а в древности называли *aegritudo*—смятенностью духа.

Ф р а н ц и с к

Самое имя этой болезни повергает меня в трепет.

А в г у с т и н

Без сомнения, потому, что она давно и тяжело терзает тебя.

Ф р а н ц и с к

Каюсь, что так. К тому же почти во всем, что меня мучает, есть примесь какой-то сладости, хотя и обманчивой; но в этой скорби все так сурово, и горестно, и страшно, и путь к отчаянию открыт ежеминутно, и каждая мелочь толкает

¹ Гнетущая печаль (лат.).

к гибели несчастную душу. Притом все прочие мои страсти сказываются хотя частыми, но краткими и скоропреходящими вспышками, эта же чума по временам схватывает меня так упорно, что без отдыха истязает меня целые дни и ночи; тогда для меня нет света, нет жизни: то время подобно кромешной ночи и жесточайшей смерти. И, что можно назвать верхом злополучия,—я так упиваюсь своей душевной борьбой и мукою, с каким-то стесненным сладострастием, что лишь неохотно отрываюсь от них.

А в г у с т и н

Ты прекрасно знаешь свою болезнь; если бы только ты знал и ее причину! Итак, скажи мне, что огорчает тебя до такой степени? Сумятица ли повседневной жизни? Или телесная боль? Или какой-нибудь удар жестокой судьбы?

Ф р а н ц и с к

Ничто в отдельности из названного тобою. Будь я испытуем в единоборстве, я, несомненно, устоял бы; теперь же я гибну под натиском целого войска.

А в г у с т и н

Объясни точнее, что тебя угнетает.

Ф р а н ц и с к

Каждый раз, когда судьба наносит мне одну какую-нибудь рану, я остаюсь тверд и неустрашим, памятуя, что уже не раз, тяжело пораженный ею, я выходил победителем; если вскоре затем она наносит мне вторую рану, я начинаю несколько колебаться; когда же за теми двумя следуют третья и четвертая рана, тогда я поневоле, не бегом стремительным, а шаг за шагом, отступаю в крепость разума. Но если судьба обрушивается на меня всей своей ратью и, чтобы сокрушить меня, скликает и образы человеческих бедствий, и воспоминание о пережитых муках, и страх грядущих, тогда-то, теснимый со всех сторон, до ужаса напуганный таким скоплением бед, я стенаю, и тогда возникает эта тяжкая скорбь, как если кто окружен бесчисленными врагами, и нет ему выхода, нет ни надежды на пощаду, ни утешения, но все грозит ему гибелью — уже поставлены осадные машины, вырыты подземные ходы, уже шатаются башни, лестницы уже приставлены к укреплениям, к стенам подведены укрытия на колесах и огонь бежит по крышам; видя со всех сторон сверкающие мечи и грозные лица врагов и сознавая близость своей гибели, может ли он не страшиться и не скорбеть, когда и без этих ужасов одна потеря сво-

боды есть для мужественного человека величайшее страдание?

А в г у с т и н

Хотя твой рассказ и беспорядочен, однако я понимаю, что причина всех твоих бед — неверная мысль, которая и в прошлом погубила бесчисленное множество людей, и многих еще погубит: ты считаешь себя несчастным.

Ф р а н ц и с к

Как нельзя более.

А в г у с т и н

По какой причине?

Ф р а н ц и с к

Не по одной, а по многим.

А в г у с т и н

С тобою происходит то же, что с человеком, который из-за любого ничтожного оскорбления воскрешает в своей памяти весь ряд минувших обид.

Ф р а н ц и с к

Ни одна рана во мне не настолько стара, чтобы она была излечена забвением, но все болящие свежи, и если что от времени могло бы зажить, судьба так часто ударяла по тому же месту, что рубец никогда не стянул зияющей раны. Прибавь сюда еще мою ненависть и отвращение к человеческому состоянию; угнетаемый всем этим, я не могу не быть глубоко печальным. Назовешь ли ты это чувство *acidia*, или *aegritudo*, или как-нибудь иначе — для меня не важно; насчет самой вещи мы согласны.

А в г у с т и н

Так как, сколько я вижу, болезнь пустила глубокие корни, то залечить ее поверхностно было бы бесцельно, ибо она вскоре проявилась бы снова; необходимо удалить ее с корнем. Но я недоумеваю, с чего начать; многочисленность твоих бед пугает меня. Но чтобы облегчить себе задачу, я буду обсуждать каждую вещь в отдельности. Итак, скажи, что тебе кажется наиболее тягостным?

Ф р а н ц и с к

Все, что я первым увижу, все, что слышу, все, что чувствую.

А в г у с т и н

Из всех вещей почти ни одна тебе не нравится?

Ф р а н ц и с к

Или ни одна, или очень немногие.

А в г у с т и н

Когда бы, по крайней мере, тебе нравились вещи, служащие ко спасению! Но я прошу тебя, ответь, что тебе в особенности не нравится?

Ф р а н ц и с к

Я ответил уже.

А в г у с т и н

Всему этому виною та *acidia*, о которой я говорил. Тебе не нравится все твое?

Ф р а н ц и с к

Чужое не менее.

А в г у с т и н

И это происходит от той же причины. Но, чтобы внести некоторый порядок в нашу беседу, скажи, претит ли тебе все твое так сильно, как ты утверждаешь?

Ф р а н ц и с к

Перестань мучить меня пустыми вопросами.
Претит больше, чем можно выразить.

А в г у с т и н

Следовательно, тебе противно то самое, что
многим другим внушает зависть к тебе?

Ф р а н ц и с к

Кто завидует несчастному, тот, очевидно, сам
крайне несчастен.

А в г у с т и н

Но что тебе наиболее претит из всего?

Ф р а н ц и с к

Не знаю.

А в г у с т и н

А если я буду перечислять, ты признаешь-
ся ли?

Ф р а н ц и с к

Признаюсь искренно.

А в г у с т и н

Ты гневаешься на свою судьбу.

Ф р а н ц и с к

Могу ли не ненавидеть ее, надменную, жестокую, слепую, без разбора вершающую земные дела?

А в г у с т и н

В общей форме эта жалоба касается всех. Будем исследовать теперь твои личные неудовольствия. Если окажется, что твои жалобы несправедливы, примиришься ли ты?

Ф р а н ц и с к

Убедить меня — очень трудно, но если ты докажешь мне это, я успокоюсь.

А в г у с т и н

Ты находишь, что судьба поступает с тобою слишком скаречно?

Ф р а н ц и с к

Нет, слишком несносно, слишком несправедливо, слишком высокомерно, слишком жестоко.

А в г у с т и н

У комических поэтов выведен не один жалующийся, но тысячи, и ты пока — только один из многих; лучше бы ты принадлежал к числу немногих. Но так как эта тема до такой степени

избита, что едва ли можно прибавить к ней что-нибудь новое, желаешь ли ты к старой болезни применить старое лекарство?

Ф р а н ц и с к

Как угодно.

А в г у с т и н

Итак, скажи: заставила ли тебя бедность терпеть голод, или жажду, или холод?

Ф р а н ц и с к

Моя судьба пока еще не доходила до такой свирепости.

А в г у с т и н

А сколь многие терпят эти лишения изо дня в день!

Ф р а н ц и с к

Употреби другое лекарство, если можешь, ибо это мне не помогает. Я не из тех, кому среди собственных бед радость видеть вокруг себя полчище несчастных и плачущих, и подчас я скорблю о чужих страданиях не меньше, нежели о моих собственных.

А в г у с т и н

И я не говорю о радости, но я хочу, чтобы это зрелище утешало человека и чтобы, видя чужие

судьбы, он научался быть довольным своею. Ибо не могут все занимать первое место, иначе как же явится первый, если за ним не будет следовать второй? Вы, смертные, уже должны быть довольны, раз вы не доведены до крайности, раз из столь многих козней судьбы вы терпите только умеренные. Впрочем, и тем, кто несет тягчайшее бремя, можно помочь более острыми лекарствами; ты же в них совсем не нуждаешься, так как судьба обошлась с тобою не слишком сурово. Но вас ввергает в эти горести то, что каждый, забывая о своем жребии, мечтает занять первое место, а так как — о чем я уже говорил — все не могут занимать это место, то за безуспешными попытками следует негодование. Если бы люди понимали, сколь тягостно высшее положение, они не домогались, а боялись бы его; это доказывается свидетельством тех, которые ценою великих усилий вознеслись на вершину почестей и которые вскоре начинали проклинать слишком легкое исполнение своих желаний. Эту истину должны были бы знать все, особенно ты, которому долгий опыт доказал, что высшее положение есть всегда трудная, тревожная и во всех отношениях жалкая доля. Отсюда следует, что нет такого положения, которое не давало бы повода к жалобам, потому что и достигшие желаемого, и потерпевшие неудачу одинаково предъявляют

законные причины жаловаться: одни считают себя обманутыми, другие — несправедливо обойденными. Поэтому следуй совету Сенеки: «Видя, сколько человек тебя опередило, думай о том, сколько их остается позади тебя; если хочешь выказать себя благодарным по отношению к Богу и своей жизни, думай о том, сколь многих ты опередил»,— и, как он говорит в том же месте,— «назначь себе границу, которой ты не мог бы переступить, даже если бы пожелал».

Ф р а н ц и с к

Я давно уже указал моим желаниям определенную границу, если не ошибаюсь — весьма скромную; но наглость и бесстыдство моего века таковы, что скромность провозглашается тупостью и ленью.

А в г у с т и н

Но могут ли нарушать твое душевное равновесие суждения толпы, которая никогда не судит верно, никогда не называет вещей правильными именами? Если память не обманывает меня, ты обыкновенно презирал их.

Ф р а н ц и с к

Верь мне, я никогда не презирал их более, чем теперь. Мнению толпы обо мне я придаю не

более важности, чем тому, что думает обо мне стадо животных.

А в г у с т и н

Ну, что же?

Ф р а н ц и с к

Мне обидно, что, хотя ни один из моих современников, каких я знаю, не питал более скромных желаний, никто не достигал своих целей с большим трудом. Что я точно никогда не домогался высокого положения, этому свидетельница та, что здесь присутствует, ибо она все видит и всегда читала в моей душе. Она знает, что каждый раз, когда я, по свойству человеческого ума, мысленно перебирал все общественные состояния, я на высших ступенях никогда не находил того покоя и той душевной ясности, которые, на мой взгляд, следует предпочесть всему другому, и что поэтому, гнушаясь жизни, исполненной забот и тревог, я всегда трезвой мыслью предпочитал скромное положение, не устами только, но душою одобряя слова Горация:

Кто умеренность золотую любит,
Верный выбрал дар: не в лачуге ветхой,
Не в грязи живет; не живет и в царских,
Скромный, палатах.

И объяснение, которое он дает, нравилось мне не менее, чем самая мысль:

Треплет буйный вихрь на горах свирепей
Гордую сосну; тяжелее рухнет
Башня с высоты; окрест глав зубчатых
Вьются перуны.

О том я и скорблю, что мне никогда не удавалось достигнуть этого скромного положения.

А в г у с т и н

Но, может быть, то, что ты считаешь скромным, выше тебя? Может быть, истинная середина уже давно досталась тебе, и с избытком? Может быть, ты далеко превзошел ее и для многих служишь скорее предметом зависти, чем презрения?

Ф р а н ц и с к

Пусть так, но я убежден в противном.

А в г у с т и н

Неверное мнение,— бесспорно, причина всех твоих бед, особенно же этой, и потому, как говорит Туллий, тебе надо бежать от этой Харибды при помощи всех весел и парусов.

Ф р а н ц и с к

Откуда я должен бежать и куда направить мою ладью? Наконец, чему ты велишь мне верить, как не тому, что я вижу?

А в г у с т и н

Ты видишь там, куда ты направил взор, а если бы ты взглянул назад, ты увидал бы, что за тобою идет несчетная толпа и что ты несколько ближе к первому ряду, чем к последнему, но душевная трусость и упрямство не позволяют тебе оглянуться назад.

Ф р а н ц и с к

Я оглядывался подчас и заметил, что многие отстали от меня. И я не стыжусь своей доли, но мне жаль моих забот и обидно за мои попытки, ибо я вынужден, говоря словами того же Горация:

Жить на авось, колеблясь висеть меж надеждой и
страхом.

Избавясь я от этой тревожной заботы, я был бы с избытком доволен тем, что имею, и охотно повторил бы то, что он говорит в этом же месте:

Друг, угадай, о чем я молюсь, что в мечтанье лелею:
С тем хочу я пребыть, что ныне мое,— даже с меньшим;
Век остальной для себя провождать, сколько боги
пошлют дней.

Но я всегда мнителен в отношении будущего, всегда тревожен, и потому дары судьбы не приносят мне никакой отрады. Притом до сих пор, как видишь, я живу для других, а это — самая жалкая участь из всех. Если бы, по крайней

мере, остаток старости оказался для меня счастливым, чтобы, проведя жизнь среди треволнений, я мог умереть в гавани.

А в г у с т и н

Что же, в бурном водовороте человеческих дел, среди такой непрочности успехов, в этой тьме, скрывающей будущее, и, коротко говоря, будучи во всем подвластен судьбе,— ты один из стольких тысяч людей хотел бы вести жизнь, свободную от забот? Подумай, смертный, чего ты желаешь! Подумай, чего ты требуешь! Что же касается твоих жалоб на то, что ты жил не для себя, то это не нужда, а рабство. Признаю, как и ты говоришь, что рабство — плачевная вещь, но если ты оглянешься кругом, то заметишь, что лишь очень немногие люди жили для себя. Ибо и те, которые считаются наиболее счастливыми и для которых живут тысячи, в то же время сами живут для других, о чем свидетельствуют их непрестанные бдения и труды. И разве (я хочу поразить тебя самым высоким примером) Юлий Цезарь, которому принадлежит это верное, хотя и дерзкое изречение: «Род человеческий живет для немногих»,— разве он, принудив род человеческий жить для него одного, все-таки и после этого не жил для других? Может быть, ты спросишь — для кого?

Как раз для тех, кем он был убит, для Брута, Цимбра и прочих зачинщиков предательского заговора, алчности которых не могла насытить даже его неистощимая щедрость.

Ф р а н ц и с к

Признаюсь, ты убедил меня, так что я больше не негодую ни на свое рабство, ни на свою бедность.

А в г у с т и н

Лучше негодуй на то, что ты не мудр, ибо только этим ты мог бы приобрести и свободу, и истинное богатство. Притом человек, равнодушно переносящий отсутствие причин и в то же время пеняющий на отсутствие следствий, не имеет правильного представления ни о причинах, ни о следствиях. Но говори теперь далее, что угнетает тебя сверх сказанного? Бренность ли тела? Или скрытая скорбь?

Ф р а н ц и с к

Правда, каждый раз, как я рассматривал себя самого, мое тело всегда было мне в тягость; но видя, сколь тяжелы тела других, я признаю, что мой раб довольно послушен. Когда бы я мог тем же хвалиться и относительно моей души! Но она властвует надо мной.

А в г у с т и н

Когда бы она сама покорялась власти разума!
Но возвращаюсь к телу: что ты чувствуешь
в нем тягостного?

Ф р а н ц и с к

Ничего другого, кроме его общих свойств: что оно смертно, расстраивает меня своими страданиями, обременяет меня своей тяжестью, клонит ко сну, когда дух бодр, и подчиняет другим человеческим нуждам, которые перечислять было бы и долго и неприятно.

А в г у с т и н

Образумься, прошу тебя, и вспомни, что ты человек,— тогда это тревожное чувство исчезнет. Если тебя мучит еще что-нибудь, скажи.

Ф р а н ц и с к

Или ты не слышал о лютости мачехи-судьбы, как она в один день беспощадным ударом сокрушила меня, мои надежды и все мое достояние, мою семью и мой дом?

А в г у с т и н

Вижу потоки слез, текущие из твоих глаз, и оттого хочу пройти мимо, ибо в этом деле ты нуждаешься не в поучении, а в напоминании. До-

статочно будет лишь посоветовать тебе, чтобы ты вспомнил не только о гибели частных семейств, но о хорошо известных тебе случаях распада целых царств на протяжении всех веков. Одно уже чтение трагедий может научить тебя не стыдиться того, что вместе со столькими царскими дворцами сгорела и твоя хижина. Теперь продолжай, потому что эти мои немногие слова ты должен сам обдумать глубже.

Ф р а н ц и с к

Кто мог бы с достаточной силою выразить ежедневное отвращение и скуку моей жизни в этом безобразнейшем, беспокойнейшем из всех городов мира, в этой тесной, омерзительной яме, куда стекаются нечистоты со всего света? Кто в состоянии изобразить словами узкие зловонные улицы, вызывающие тошноту, стаи бешеных собак попеременно с гнусными свиньями, грохот колес, сотрясающий стены, кареты четверней, внезапно выезжающие из боковых переулков и загораживающие дорогу, эту разношерстную толпу, ужасный вид бесчисленных нищих, разнузданность богатства, уныние и скорбь одних, резвую веселость других, наконец, это разнообразие характеров и занятий, этот разноголосый крик и давку кишасей толпы? Все это изнуряет ум, привыкший к лучшему, лишает покоя бла-

городный дух и мешает научным занятиям. Да спасет меня Господь от этого кораблекрушения невредимым, ибо часто, когда я оглядываюсь кругом, мне кажется, что я живым сошел в ад. Вот и предавайся при таких условиях высоким размышлениям:

Вот тут и вздумай сложить втихомолку певучие
строки!

А в г у с т и н

Этот стих Флакка показывает мне, о чем ты более всего сокрушаешься; ты горюешь о том, что попал в такое место, которое не благоприятно для твоих занятий, ибо, как говорит тот же поэт,

Хором хвалят поэты леса, города ненавидят.

И сам ты в каком-то послании выразил ту же мысль другими словами:

Музам дубрава мила, не дружат с городами поэты.

Верь мне: если бы когда-нибудь утихло внутреннее смятение твоего духа, окружающий тебя шум хотя и поражал бы твой слух, но души твоей не волновал бы. Но не буду повторять тебе того, что ты давно знаешь; у тебя есть бесполезное письмо Сенеки об этом предмете, есть и книга его же о спокойствии духа, есть и превосходная книга Цицерона о средствах к пол-

ному исцелению этого душевного недуга — изложение прений третьего дня, происходивших в его Тускуланском доме, посвященное им Бруту.

Ф р а н ц и с к

Ты знаешь, что каждую из этих вещей я читал с большим вниманием.

А в г у с т и н

Что же? Неужели они не принесли тебе никакой пользы?

Ф р а н ц и с к

Напротив, пока я читал, они были мне очень полезны, но едва я выпускал книгу из рук, мое согласие с нею тотчас исчезало совершенно.

А в г у с т и н

Такова общая привычка читающих, с тех пор как негодные писаки, это проклятое отродье, стали всюду бродить стадами; хотя в школах много спорят о том, как должно жить, но слова мало претворяются в дело. Но если бы ты отмечал соответствующие места известными знаками, ты извлекал бы пользу из чтения.

Ф р а н ц и с к

Какими знаками?

А в г у с т и н

Каждый раз, когда при чтении тебе встречаются назидательные изречения, которые, как тебе кажется, либо подстрекают, либо обуздывают твой дух, не полагайся на силы своего ума, но прячь их в хранилище твоей памяти и тверди до тех пор, пока вполне не освоишься с ними, дабы, по примеру опытных лекарей, где и когда бы ни приключилась болезнь, требующая немедленного вмешательства, лекарства были бы у тебя, так сказать, записаны в душе. Ибо как тела, так и души человеческие подвержены некоторым недугам, в которых промедление столь опасно, что отсрочить лечение — значит уничтожить надежду на спасение. Кто не знает, например, что иные движения души бывают столь стремительны, что, если разум не подавляет их в самом зародыше, они ввергают в гибель душу, тело и всего человека, и всякое средство, применяемое к ним впоследствии, оказывается уже запоздалым. Из них главным я считаю гнев. Не без основания те, кто делит душу на три части, отводят ему место под сидением разума, помещая разум в голове, как бы в крепости, гнев — в груди, вожделения — в брюшной полости, ибо разум должен быть всегда готов быстро подавлять бурные порывы подчиненных ему стра-

тей и как бы с высоты трубить к отступлению; и так как гнев всего более нуждается в этой остратке, то он и помещен всего ближе.

Ф р а н ц и с к

И правильно. Я хочу доказать тебе, что эту истину я извлекал не только из философских, но и из поэтических произведений. Именно, я часто размышлял про себя, что описываемые Мароном неистовые ветры, скрывающиеся в далеких пещерах, и громоздящиеся над ними горы, и на вершине сидящий царь, укрощающий их своей властью, знаменуют, может быть, гнев и буйные страсти души, которые клопочут в глубине сердца и, если бы не сдерживала их узда разума, как говорится там же,

Материк, и моря, и глубокое небо —
Ярые все б унесли, все б размыкали буйным набегом.

В самом деле, что разумеет он под материком, как не земную персть тела, под морями — как не оживляющие ее соки, под глубиной небес — как не душу, которая обитает в скрытом месте и в которой, как он же говорит в другом месте:

Дышит мощь огневая, небесное теплится семя.

Этим он хочет сказать, что страсти ввергают в бездну и тело и душу, словом — всего челове-

о ярости гнева и о власти разума, кажется мне верным и остроумным. Но возвращаюсь к началу моей речи: против гнева и остальных страстей, особенно же против той заразы, о которой мы как раз говорим, приводи себе всегда на память какое-нибудь изречение, встретившееся тебе при внимательном чтении. Отмечай полезные изречения, как я сказал вначале, известными знаками, которые наподобие крючков удерживали бы их в памяти, когда они захотят ускользнуть из нее. С их помощью ты станешь непоколебимым как против всех других соблазнов, так и против той мрачности духа, которая, подобно смертоносной тени, губит и семена добродетелей, и все плоды дарований и которая, словом,— как прекрасно говорит Туллий,— есть источник и начало всех бедствий. Разумеется, нет ни одного человека, который не имел бы многих причин для скорби; не говорю и о том, что воспоминание о твоих прегрешениях законно гнетет и тревожит тебя: это единственный спасительный вид скорби, раз только она не переходит в отчаяние; но если ты внимательно присмотришься к другим и к самому себе, ты, конечно, должен будешь признать, что небо даровало тебе много благ, которые дают тебе право утешаться и радоваться среди стольких ропшущих и страждущих. Что же касается твоих жалоб на то, что ты

еще не жил для себя, равно и твоих жалоб на неудовольствие, которое причиняет тебе городской шум, то немалым утешением должны тебе служить подобные же жалобы знаменитейших людей и то соображение, что если ты по собственной воле попал в этот водоворот, то по своей же воле можешь и вынырнуть из него, если только сильно пожелаешь. Притом долгая привычка может приучить твои уши внимать разноголосому крику толпы с таким же наслаждением, как шуму водопада. И, как я сказал, ты очень легко достигнешь того, если сначала смиришь смятение твоего духа, ибо ясное и спокойное сердце остается невозмутимым, клубятся ли вокруг него бродячие облака или звучит над ним дальний гром. Так, точно стоя в безопасности на сухом берегу, ты будешь созерцать чужие кораблекрушения и молча слушать горестные вопли тонущих, и сколько жалости внушит тебе это печальное зрелище, столько же радости будет возбуждать в тебе твоя собственная безопасность по сравнению с опасным положением других. Поэтому я твердо надеюсь, что ты вскоре совершенно изгонишь печаль из твоего сердца.

Ф р а н ц и с к

Хотя многое звучит для меня как насмешка, особенно твое утверждение, что мне легко поки-

нуть города и что это вполне в моей воле, но так как во многом ты убедил меня разумными доводами, я хочу и тут сложить оружие, прежде чем потерплю поражение.

А в г у с т и н

Итак, ты можешь теперь же сбросить с себя печаль и примириться со своей судьбою.

Ф р а н ц и с к

Конечно, могу, если только судьба действительно существует. Ибо, как ты знаешь, греческий поэт и наш сильно расходятся на этот счет: в то время как первый ни разу не удостоил упомянуть о судьбе в своих произведениях, как бы признавая, что она — ничто, наш не только часто поминает ее, но в одном месте даже называет всемогущей. Это мнение разделяли и знаменитый историк, и великий оратор; именно, Саллюстий Крисп говорит, что судьба, несомненно, властвует во всем, а Марк Туллий не усумнился признать ее владычицей человеческих дел. Что я сам думаю о ней, то мне, может быть, представится другое время и место высказать. Что же касается обсуждаемого нами предмета, то твои наставления были мне так полезны, что, сравнивая себя теперь с большинством людей,

я уже не нахожу своего положения столь жалким, как раньше.

А в г у с т и н

Я рад, что принес тебе некоторую пользу, и хотел бы принести большую; но так как нынешняя беседа довольно затянулась, не отложить ли нам то, что еще осталось, на третий день, когда и кончить?

Ф р а н ц и с к

Я лично всем сердцем обожаю число три, не столько потому, что оно содержит в себе трех Граций, сколько потому, что оно, как известно, всего милее божеству. Таково не только твое мнение и других учителей истинной религии, всецело возлагающих свою веру на троичность, но даже языческих философов, которые сообщают нам, что это число применялось при посвящениях богам. Это знал, по-видимому, и наш Вергилий, как видно по его словам:

Нечетное богу угодно,—

ибо из предшествующего видно, что он говорит о числе три. Итак, я жду теперь из твоих рук третьей части этого трехчленного дара.

Кончается Беседа вторая

НАЧИНАЕТСЯ БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

А в г у с т и н

Ежели сказанное мною до сих пор принесло тебе какую-нибудь пользу, то прошу и заклинаю тебя выслушать благожелательно остальное и отказаться от склонности к возражениям и спору.

Ф р а н ц и с к

Будь спокоен на этот счет, ибо я чувствую, что твои наставления освободили меня от значительной части моих тревог, и тем охотнее готов слушать до конца.

А в г у с т и н

Я еще не коснулся тех язв твоих, которые всего глубже скрыты и всего труднее поддаются лечению, да и боюсь коснуться их, помня, сколько споров и жалоб вызвало даже сравнительно легкое прикосновение. Но, с другой стороны, я надеюсь, что теперь, собрав свои силы, твой окрепший дух мужественнее перенесет более суровое испытание.

Ф р а н ц и с к

Не бойся ничего; я уже привык слышать названия моих болезней и терпеть прикосновение врача.

А в г у с т и н

Ты донныне привязан справа и слева двумя адамантовыми цепями, которые не позволяют тебе думать ни о смерти, ни о жизни. Я всегда опасался, чтобы они не вовлекли тебя в гибель; я и теперь еще беспокоен и не буду спокоен, пока не увижу, что они разбиты и сброшены, а ты развязан и свободен. Я убежден, что это — вещь возможная, хотя, конечно, трудная, иначе я тщетно бился бы над невозможным. Ибо как для дробления алмазов нужна, говорят, кровь козла, так для смягчения жестокости этих забот потребна та кровь, которая, едва коснувшись огрубелого сердца, раскрывает его и проникает внутрь. Но так как в этом деле необходимо и твое содействие, то я боюсь, что ты не сможешь или, вернее, не захочешь оказать его; я сильно опасуюсь, чтобы не помешал этому самый блеск твоих оков, столь лучезарный и ласкающий взоры, и чтобы не случилось с тобою того же — и я подозреваю, что это может случиться, — как если бы скупой, томясь в тюрьме закованным в золотые оковы, желал бы выйти на свободу, но не хотел бы потерять своих оков; над тобою же властен закон тюрьмы: не сбросив цепей, ты не можешь быть свободен.

Ф р а н ц и с к

Горе мне! Я был несчастнее, нежели думал. Неужели до сих пор моя душа опутана двумя цепями, о которых я не догадываюсь?

А в г у с т и н

Напротив, ты прекрасно знаешь их, но, восхищенный их красотой, ты их считал не цепями, а сокровищами, и с тобою случилось (я пользуюсь тем же сравнением) то же, как если бы кто-нибудь, будучи закован по рукам и ногам в золотые оковы, с удовольствием разглядывал золото и не видел бы, что это цепи. Так и ты теперь невидящими глазами смотришь на свои оковы, но — о, слепота! — радуешься этим цепям, влекущим тебя к смерти, и, что всего плачевнее, даже гордишься ими.

Ф р а н ц и с к

Что же это за цепи, о которых ты говоришь?

А в г у с т и н

Любовь и слава.

Ф р а н ц и с к

Боги, что я слышу! Их-то ты называешь цепями, их собираешься разбить, если я соглашусь?

А в г у с т и н

Хочу попытаться, но не уверен, что это удастся мне. Все остальные цепи, которые связывали тебя, были и более хрупки, и менее приятны на вид; оттого, когда я ломал их, ты помогал мне; эти, напротив, вредя, нравятся и манят каким-то обещанием красоты; поэтому здесь потребуется больше усилий, ибо ты будешь противиться, как если бы я хотел отнять у тебя величайшие ценности. Однако попробую.

Ф р а н ц и с к

Чем я провинился пред тобою, что ты хочешь лишить меня лучших радостей и ввергнуть в безысходную тьму светлейшую часть моей души?

А в г у с т и н

Несчастный! Или ты забыл изречение философа, что зло тогда достигает своей вершины, когда к ложным мнениям присоединяется убеждение, что так и должно быть.

Ф р а н ц и с к

Нисколько не забыл, но это изречение не идет к делу, ибо почему бы мне не думать, что так должно быть? Напротив, у меня никогда не бы-

ло более правильной мысли, нежели та, что страсти, в которых ты упрекаешь меня, суть самые благородные.

А в г у с т и н

Разделим их на время, пока я стану изыскивать средства против них, иначе я буду кидаться то сюда, то туда, и натиск мой на каждую в отдельности будет ослаблен. Скажи мне,— так как мы первую назвали любовь,— не считаешь ли ты ее худшим видом безумия?

Ф р а н ц и с к

Говоря совершенно искренне, я полагаю, что любовь, смотря по свойствам своего предмета, может быть и худшей из душевных страстей, и благороднейшим деянием.

А в г у с т и н

Для ясности приведи какой-нибудь пример.

Ф р а н ц и с к

Ежели я горю страстью к мерзкой и развратной женщине, то моя страсть есть верх безумия; если же меня очаровал редкий образец добродетели и я стремлюсь любить и обожать его,— как мыслишь? Или ты не видишь никакой разницы между столь различными вещами и стыд, по-тво-

ему, вовсе исчез? Я же, если мне позволено высказать мое мнение, считаю первую любовь тяжелым и пагубным бременем для души, вторую же — едва ли не величайшим счастьем. Если ты почему-нибудь держишься противоположного взгляда, то пусть каждый следует своему убеждению, ибо мнения, как ты знаешь, бывают крайне разнообразны и всякий волен судить по-своему.

А в г у с т и н

В делах спорных суждения различны, но истина всегда одна и та же.

Ф р а н ц и с к

Против этого я не спору, но нас сбивает с пути то, что мы упрямо держимся стародавних мнений и с трудом отрываемся от них.

А в г у с т и н

Если бы ты так же здраво судил обо всем в вопросе любви, как ты судишь об этом предмете!

Ф р а н ц и с к

Коротко сказать, мое мнение кажется мне столь правильным, что тех, кто держится противоположного взгляда, я положительно считаю безумцами.

А в г у с т и н

Застарелую ложь принимать за истину, а истину, дознанную недавно, считать ложью, то есть ставить существо дела исключительно в зависимость от времени есть верх безумия.

Ф р а н ц и с к

Твои усилия тщетны, я ничему не поверю. Мне приходит на мысль изречение Туллия: «Если я заблуждаюсь в этом, то заблуждаюсь охотно и не хотел бы, чтобы меня лишили этого заблуждения, пока я жив».

А в г у с т и н

Он употребил эти слова, говоря о бессмертии души, что есть прекраснейшее из всех убеждений, и желал ими выразить, что на этот счет у него нет никаких сомнений и что противоположных мнений он не желает и слушать; ты же незаконно пользуешься его словами, защищая гнусное и в высшей степени ложное мнение. В самом деле, будь душа смертна, было бы все-таки лучше признавать ее бессмертною, и эта ошибка должна была бы считаться спасительной, так как она вселяла бы любовь к добродетели, к которой следует стремиться ради нее самой, хотя бы отнята была всякая надежда на награду; а если

бы душа была признана смертною, стремление к добродетели, несомненно, ослабело бы; и, наоборот, обетование будущей жизни, хотя бы ложное, по-видимому, весьма пригодно для того, чтобы подстрекать души смертных. А какие плоды принесет тебе это твое заблуждение,— ты увидишь; оно ввергнет твою душу во все безумия, где исчезнут и стыд, и страх, и разум, укрошающий неистовство страстей, и познание истины.

Ф р а н ц и с к

Я уже сказал тебе,— твои старания тщетны; я твердо помню, что никогда не любил ничего постыдного, а любил только прекраснейшее.

А в г у с т и н

Известно, что можно и прекрасное любить постыдно.

Ф р а н ц и с к

Я не погрешил ни в существительных, ни в наречиях, поэтому перестань уж теснить меня.

А в г у с т и н

Что ж ты хочешь, подобно буйным сумасшедшим, испустить дух среди шуток и смеха? Или ты предпочтешь подать какое-нибудь лекарство твоей, жалости достойной, больной душе?

Ф р а н ц и с к

Я не отвергаю лекарства, если ты докажешь, что я болен; а здоровым усиленный прием лекарств часто бывает пагубен.

А в г у с т и н

Когда ты начнешь выздоравливать, ты сам, как это бывает со многими, признаешь, что было тяжело болен.

Ф р а н ц и с к

В конце концов я не могу отказать в уважении тому, чьи мудрые советы я и раньше не раз, и особенно в эти последние дни, изведаль на деле. Итак, продолжай.

А в г у с т и н

Прежде всего прошу тебя простить мне, если, принуждаемый существом дела, я, может быть, несколько резко буду нападать на предметы, обожжаемые тобою, ибо я заранее предвижу, как неприятно будет звучать истина для твоих ушей.

Ф р а н ц и с к

Повремени минуточку, прежде чем начнешь: знаешь ли ты, о чем тебе предстоит говорить?

А в г у с т и н

Я тщательно обдумал все заранее; речь наша будет о смертной женщине, на обожание и угождение которой ты потратил большую часть твоей жизни. Я сожалею об этом и сильно дивлюсь столь глубокому и долговременному безумию в человеке такого ума.

Ф р а н ц и с к

Останови свою бранную речь, прошу тебя. Смертными женщинами были и Фаида и Ливия. Притом известно ли тебе, что ты заговорил о женщине, чей дух, чуждый земных забот, горит небесной жаждою, в чьих чертах, если только есть правда в мире, сияет отблеск божественной красоты, чей характер — образец нравственного совершенства, в чьем голосе и взоре нет ничего смертного, чья походка обличает существо высшее человека? Помни это хорошенько, и тогда ты поймешь, какие слова ты должен употреблять.

А в г у с т и н

О безумный! Так-то ты уже шестнадцатый год питаешь пламя своей души лживыми обольщениями? Поистине, не дольше властвовал над Италией знаменитый Ганнибал, не чаще выдерживала она натиски вооруженных полчищ, не

сильнее пылала в пожарах, нежели тебя за это время палила огнем и одолевала приступами неистовая страсть. Однако нашелся же человек, который наконец заставил Ганнибала удалиться; твоего же врага кто отвратит от твоей выи, раз ты запрещаешь ему уйти и даже сам, сознательно и добровольно, приглашаешь его оставаться у тебя? Несчастный! Ты радуешься собственной беде. Но когда последний день закроет эти очи, чарующие тебя до гибели, когда ты увидишь ее лицо, искаженное смертью, и бледные члены, тебе будет стыдно, что ты приковал твою бессмертную душу к брэнному, жалкому телу, и ты будешь краснеть, вспоминая о том, что ты теперь так упрямо утверждаешь.

Ф р а н ц и с к

Да не приведет Господь! Я этого не увижу.

А в г у с т и н

Между тем это неизбежно случится.

Ф р а н ц и с к

Знаю, но не настолько враждебны мне светила, чтобы этой смертью нарушить порядок естества. Раньше ее вступил я в жизнь, раньше и выйду.

А в г у с т и н

Ты, верно, помнишь то время, когда ты боялся противного и когда, вдохновленный печалью, ты сложил погребальную песнь подруге, как если бы она уже была мертва.

Ф р а н ц и с к

Конечно, помню, но я скорбел тогда и еще теперь, вспоминая те чувства, содрогаюсь. Я негодовал на то, что от меня как бы отсечена благороднейшая часть моей души и что я осужден пережить ту, которая одним своим присутствием улаживала мне жизнь, так что эта песнь оплакивает ее потерю, исторгшую у меня тогда потоки слез. Я хорошо помню смысл, хотя и забыл слова.

А в г у с т и н

Не в том дело, сколько слез исторгло у тебя и сколько боли причинило тебе представление о ее смерти; но важно, чтобы ты понял, что этот страх, который однажды потряс тебя, может вернуться, и тем легче, что смерть все ближе с каждым днем и что это прекрасное тело, будучи истощено болезнями и частыми родами, утратило значительную часть своей прежней крепости.

А в г у с т и н

Я не в силах больше слушать эти глупости! Ведь раз ты знаешь, что она может умереть раньше тебя, что же ты скажешь, когда она умрет?

Ф р а н ц и с к

Что другое смогу я сказать, как не то, что этот удар сделал меня несчастнейшим из всех людей? Но мне будет утешением память о прошедших годах. Как бы то ни было, пусть ветры унесут наши слова и бури развеют предвещание!

А в г у с т и н

О слепец! Ты все еще не понимаешь, какое безумие — подчинять душу земным вещам, которые воспаляют ее огнем желаний, неспособны ее успокоить, не могут быть верны ей до конца и, обещая ее приголубить, вместо того терзают ее непрерывными потрясениями.

Ф р а н ц и с к

Если у тебя есть более действительное средство, то употреби его; подобными речами ты никогда не устроишь меня, потому что не смертной вещи, как ты думаешь, я предал свой дух, и ты знаешь, что я любил не столько ее тело, сколько душу, чистота которой, превосходящая

человеческий уровень, восхищает меня и пример которой учит меня, как живет среди небожителей. Итак, на твой вопрос (который даже только слышать мне мучительно), что я буду делать, если она умрет раньше, покинув меня,— вот мой ответ: я буду утешаться в своих несчастиях по примеру Лелия, мудрейшего из римлян; я буду говорить себе: «Я любил ее добродетель, которая не умерла»,— и буду повторять себе также все остальное, что он сказал после смерти того, которого любил с такой удивительной силой.

А в г у с т и н

Ты засел в неприступной крепости твоего заблуждения, и выбить тебя оттуда — нелегкий труд; но так как я вижу по твоему настроению, что ты гораздо терпеливее готов выслушать резкое слово о себе самом, нежели о ней, то превозноси свою бабенку похвалами, сколько хочешь,— я ничего не стану возражать. Пусть она царица, святая или хотя бы даже богиня.

Феба ль сестра, из семейства ли нимф единая родом,— все же ее безмерная добродетель нисколько не искупит твоего заблуждения.

Ф р а н ц и с к

Жду — какую еще новую тяжбу ты хочешь затеять.

А в г у с т и н

Нет сомнения, что люди нередко любят прекраснейшие вещи постыдным образом.

Ф р а н ц и с к

На это я уже раньше ответил. Если бы кто мог видеть облик любви, царящей во мне, он признал бы этот облик совершенно сходным с ее чертами, которые я хотя и много хвалил, но все же меньше, чем следовало. Беру в свидетельницы ту, пред кем мы говорим, что в моей любви никогда не было ничего постыдного, ничего непристойного, вообще ничего преступного, кроме ее чрезмерности. Будь она еще в меру, нельзя было бы придумать ничего прекраснее.

А в г у с т и н

Могу ответить тебе словами Туллия: «Ты хочешь придать меру пороку».

Ф р а н ц и с к

Не пороку, а любви.

А в г у с т и н

Но он, говоря это, разумел именно любовь. Помнишь это место?

Ф р а н ц и с к

Конечно; я читал это в «Тускуланских беседах». Но он говорил об обычной человеческой любви, а во мне живет нечто особенное.

А в г у с т и н

Однако и другие, может быть, думают о себе так же; дознаю ведь, что, как в отношении других страстей, так особенно в отношении этой всякий судит о себе благосклонно; и не без основания хвалят эти стихи, хотя и принадлежащие какому-то простонародному поэту:

Своя у каждого невеста: мне — моя!
Своя у каждого зазноба: мне — моя!

Ф р а н ц и с к

Если хочешь и если позволяет время, я приведу тебе из многого лишь малость, которая повергнет тебя в величайшее изумление.

А в г у с т и н

Или, ты думаешь, я не знаю, что

Сами влюбленные ткут из желания сонную грезу?

Всякий школьник прекрасно знает эти стихи. Но досадно слышать такие нелепости из уст человека, которому пристало бы возвышеннее и мыслить и говорить.

Ф р а н ц и с к

Об одном не могу умолчать, припишешь ли ты это благодарности или глупости: чем ты меня видишь, как бы мало это ни было, тем я стал благодаря ей, и если я достиг какой-нибудь известности или славы,— я не достиг бы их, когда бы она этими благородными чувствами не взрастила скудные семена добродетелей, которые природа посеяла в моей груди. Она отвлекла — как говорится, крюком оттащила — мой юношеский дух от всякой мерзости и принудила его смотреть горé. И почему бы нет? Ведь известно, что любовь преобразует нрав любящего по образцу любимого, а не нашелся еще ни один хулиатель, даже из самых злобных, который собачьим зубом коснулся бы ее доброго имени и осмелился бы сказать, что подметил что-нибудь достойное порицания — не говорю уже в ее поведении, но даже в ее движениях и словах, так что даже те, кто осуждает все на свете, уходили от нее преисполненные удивления и почтения. Поэтому нисколько не удивительно, что эта громкая слава возбудила и во мне желание большей славы и облегчила мне тот тяжкий труд, который я должен был свершить для достижения этой цели. Ибо в юности стремился ли я к чему-нибудь другому, как не к тому, чтобы понравиться ей одной, которая мне одна понравилась? Чтобы

достигнуть этого,— ты знаешь,— презрев соблазны всевозможных наслаждений, я рано возложил на себя иго трудов и забот; и теперь ты велишь мне забыть или меньше любить ту, которая удалила меня от общения с толпою, которая, руководя мной на всех путях, подстрекала мой оцепенелый гений и пробудила мой полусонный дух.

А в г у с т и н

Несчастный! Насколько лучше было бы тебе молчать, нежели говорить! Хотя я и в молчании видел бы тебя насквозь, но самые твои слова, дышащие таким упрямством, подняли во мне всю желчь.

Ф р а н ц и с к

Почему, скажи?

А в г у с т и н

Потому что ложно мыслить есть признак невежества, а бесстыдно упорствовать в ложной мысли обличает равно и невежество и гордыню.

Ф р а н ц и с к

Что же, по-твоему, я измыслил или сказал столь ложного?

А в г у с т и н

Все, что ты говоришь, в особенности же твое утверждение, что благодаря ей ты стал тем, что ты есть. Если ты хочешь этим сказать, что она дала тебе все, что в тебе есть, то это явная ложь; если же ты разумеешь, что она не допустила тебя стать бóльшим, нежели ты есть, то ты прав. О, каких бурь мог бы ты избегнуть, если бы она не отвлекла тебя чарами своей красоты! Итак, тем, что ты есть, ты обязан доброте природы, а чем ты мог быть, то она похитила, вернее, ты сам у себя отнял, ибо она безвинна. Ее красота казалась тебе столь обаятельной, столь сладкой, что палящим зноем желаний и непрерывными ливнями слез уничтожила всю жатву, которая должна была бы взойти из врожденных тебе семян добродетели. Что касается того, будто она отвратила тебя от всего непристойного, то этим ты похваляешься ложно. Она отвратила тебя, может быть, от многого, но ввергла еще в большие бедствия. Ибо ту, которая, заставляя тебя избегать постыдного пути, усеянного всевозможными мерзостями, завлекла тебя в пропасть и, исцеляя незначительные раны, тем временем насмерть перерезала тебе горло,— можно ли ее назвать спасительницей, а не скорее ли убийцей? Именно так она, которую ты называешь своим вожатаем, ввергла тебя в блистающую

бездну, удержав от многих непотребств. Что же касается того, будто она научила тебя смотреть ввысь и отделила от толпы, что же другое здесь было, как не то, что, сидя пред нею и плененный ее очарованием, ты приучился презирать все на свете и всем пренебрегать,— а в деле человеческого общения, как ты знаешь, это всего тягостнее. Далее, когда ты говоришь, что она заставила тебя предпринять бесчисленные труды, то в этом одном ты прав; но так ли велика эта заслуга? Столь многообразны труды, от которых уклониться невозможно; подумай же: какое безрассудство гнаться добровольно за новыми! А насчет того, что, как ты хвалишься, благодаря ей ты стал жаждать большей славы, то я сожалею о твоём заблуждении и докажу тебе, что из всех бременей, отягощающих твою душу, ни одно не было гибельнее для тебя. Но моя речь еще не дошла до этого предмета.

Ф р а н ц и с к

Самый искусный борец сперва грозит, затем ранит, меня же и рана и угроза сразу так потрясли, что я начинаю уже сильно шататься.

А в г у с т и н

Насколько же сильнее ты зашатаешься, когда я нанесу тебе самую глубокую рану? Именно та,

которую ты превозносишь, которой, по твоим словам, ты обязан всем, она-то тебя и погубила.

Ф р а н ц и с к

Великий Боже! Каким образом ты убедишь меня в этом?

А в г у с т и н

Она отдалила твою душу от любви к вещам небесным и отвратила твои желания с Творца на творение, а это и есть самая покатая дорога к смерти.

Ф р а н ц и с к

Прошу тебя, не спеши произносить приговор. Любовь к ней, несомненно, побуждала меня любить Бога.

А в г у с т и н

Но извратила порядок.

Ф р а н ц и с к

Каким образом?

А в г у с т и н

Ибо должно любить все сотворенное из любви к Творцу, ты же, напротив, прельщенный чарами творения, не любил Творца, как подобает его любить, а удивлялся художнику в нем, как

если бы он не создал ничего более прекрасного; между тем телесная красота есть низший вид красоты.

Ф р а н ц и с к

Да будет мне свидетелями та, что присутствует здесь, и моя совесть, что я любил, как я уже раньше сказал, не столько ее тело, сколько душу. И ты легко можешь увидеть это из того, что чем далее она подвигалась в возрасте (а это наносит телесной красоте непоправимый урон), тем прочнее я утверждался в своем мнении, ибо если цвет ее молодости явно увядал с годами, зато красота ее души все более возрастала, и эта-то красота, как родила во мне любовь изначально, так раз зародившуюся укрепила непоколебимо. Иначе, будь я привлечен ее телом, мое чувство давно должно было бы измениться.

А в г у с т и н

Ты шутишь со мною? Или эта самая душа так же нравилась бы тебе, если бы она обитала в неопрятном и уродливом теле?

Ф р а н ц и с к

Не смею сказать это, ибо душу нельзя видеть и внешний вид тела не обещал бы тогда подобной души; но как бы ни была уродлива оболочка,

я, конечно, полюбил бы красоту ее души, если бы эта красота предстала пред моими очами.

А в г у с т и н

Ты ищешь опоры в словах, ибо, если ты можешь любить только то, что является твоему взору,— значит, ты любил тело. Впрочем, я не отрицаю, что ее душа и нравы также до известной степени питали твое пламя, так как ведь уже самое имя ее (о чем я скажу немного далее) несколько или, вернее, значительно усилило твою безумную страсть. Ибо как во всех душевных страстях, так особенно в этой, от ничтожной искры часто вспыхивает громадный пожар.

Ф р а н ц и с к

Вижу, к чему ты хочешь меня привести,— чтобы я признался вместе с Овидием:

Душу с телом любил я.

А в г у с т и н

Ты должен будешь признаться и в большем, именно, что и то и другое ты любил недостаточно трезво и не так, как подобает.

Ф р а н ц и с к

Только пыткой ты сможешь вынудить у меня такое признание.

А в г у с т и н

Ты должен будешь признаться также, что из-за этой любви ты впал в большие несчастья.

Ф р а н ц и с к

В этом я не признаюсь, хотя бы ты поднял меня на дыбу.

А в г у с т и н

Между тем ты скоро по собственной воле признаешь и то и другое, если только отнесешься со вниманием к моим доводам и вопросам. Итак, скажи: помнишь ли ты свои отроческие годы или воспоминание о том возрасте совсем угасло в тебе под бременем нынешних забот?

Ф р а н ц и с к

Нет, детство и отрочество стоят перед моими глазами совершенно так, как вчерашний день.

А в г у с т и н

Помнишь ли, как силен был в тебе в ту пору страх Божий, как много размышлял ты о смерти, как сильно был привязан к вере и как любил добродетель?

Ф р а н ц и с к

Разумеется, помню и скорблю о том, что с годами добродетели умалились во мне.

А в г у с т и н

Я же и всегда опасался, как бы дуновение весны не сорвало этого раннего цвета, который, если бы уцелел, дал бы в свое время чудный плод.

Ф р а н ц и с к

Не уклоняйся от предмета; какое отношение имеет это к делу, о котором мы начали говорить?

А в г у с т и н

Сейчас узнаешь. Раз ты чувствуешь свою память ясной и свежей, обозри сам в себе молча все время твоей жизни и вспомни, когда началась эта глубокая перемена в твоих нравах.

Ф р а н ц и с к

Вот я в одно мгновение ока пересмотрел число и порядок прожитых мною лет.

А в г у с т и н

Что же ты нашел?

Ф р а н ц и с к

Что учение о пифагорейской букве, которое мне привелось слышать, не лишено основания. Действительно, когда, поднимаясь по прямой тропинке, я дошел, скромный и рассудительный,

до распутья двух дорог и мне было приказано идти по правой дороге,— тогда, из неосторожности или упрямства, я свернул на левую, и не принесли мне пользы стихи, которые я часто читал в отрочестве:

Вот и распутье, где на две тропы расщепилась дорога.
Правая вьется стезя мимо стен Плутонова дома;
Ею в Элизий придем. На казнь идут нечестивцы
Левой тропой; их в Тартар она преисподний низводит.

Дело в том, что хотя я читал это раньше, но понял лишь тогда, когда испытал это на опыте. С тех пор как меня потянуло на кривой и нечистый путь, я часто со слезами оборачивался назад, но уже не мог идти правой дорогою; и вот, когда я ее покинул, тогда-то, несомненно, воцарилась эта неурядица в моих нравах.

А в г у с т и н

Но в какую пору твоей жизни случилось это?

Ф р а н ц и с к

В разгаре юношеского пыла, и если ты по временишь немного, я легко вспомню, какой мне шел тогда год.

А в г у с т и н

Я не требую столь точного вычисления. Лучше скажи мне, когда ты впервые увидел черты той женщины?

Ф р а н ц и с к

Этого-то я, конечно, никогда не забуду.

А в г у с т и н

Теперь сопоставь сроки.

Ф р а н ц и с к

В самом деле, эта встреча и мое падение произошли в одно и то же время.

А в г у с т и н

Так я и думал. Ты, вероятно, остолбенел, и необычный блеск ослепил твой взор; ведь изумление, говорят, есть начало любви, оттого и сказано у поэта, хорошо знавшего жизнь:

Глянула — и обомлела, дивясь, сидонянка Дидона... —

и затем следует:

Глядит — пламенеет и любит.

Хотя весь этот рассказ, как ты хорошо знаешь, вымышлен, однако поэт в своем вымысле соблюдал порядок природы. Но почему, оцепенев при встрече с нею, ты предпочел свернуть на левый путь? Вероятно, потому, что он показался тебе более отлогим и более широким, тогда как правый крут и тесен; другими словами, ты боялся усилий. Но почему, когда ты колебался и дро-

жал, эта знаменитая женщина, которую ты выдаешь за твоего надежнейшего вожатая, не направила тебя к высшим целям и, как поступают со слепыми, не удержала тебя, взяв за руку, и не указала, куда надо идти?

Ф р а н ц и с к

Она делала это, сколько могла. Ибо что же другое, как не эта цель, заставило ее, не поддаваясь никаким мольбам, никаким сладким речам, соблюсти свою женскую честь и, наперекор своему, равно как и моему возрасту, наперекор многим различным обстоятельствам, которые могли бы смягчить и сердце, твердое как алмаз, остаться неприступной и твердой? Поистине, эта женская душа учила меня долгу мужчины и предостояла мне затем, чтобы в трудной школе стыдливости, говоря словами Сенеки, у меня не было недостатка ни в примере, ни в укоризне; когда же, наконец, она увидела, что я разорвал узду и несусь стремглав, она предпочла оставить меня, нежели последовать за мною.

А в г у с т и н

Значит, ты иногда желал зазорного,— а ведь ты только что отрицал это. Но уже таково общеизвестное свойство влюбленных или, вернее, помешанных; к ним ко всем приложимы слова:

«Хочу — не хочу, не хочу — хочу». Вы сами не знаете, чего хотите, чего нет.

Франциск

Я нечаянно попался в сети. Но если в прежнее время я подчас желал иного, то к этому меня толкали любовь и возраст; теперь же я знаю, чего хочу и к чему стремлюсь, теперь я наконец укрепил свой колеблющийся дух. Она же, напротив, осталась твердою в своих решениях и всегда неизменной. Чем более я понимаю это женское постоянство, тем более удивляюсь ему, и если некогда меня огорчало, что она приняла такое решение, то теперь я рад и благодарен.

Августин

Кто раз обманул, тому в другой раз не следует легко верить; тебе придется изменить свой характер, наружность и жизнь, прежде чем ты убедишь меня, что ты изменил свою душу. Может быть, твое пламя несколько утихло и ослабело, но оно не угасло. И ты, приписывающий столь многое предмету твоей любви, разве ты не замечаешь, как сильно ты осуждаешь себя, оправдывая ее? Тебе угодно выставить ее образцом святости — тем самым ты признаешь себя безумным и преступным; она, по твоим словам, была в высшей степени счастлива, ты

же — глубоко несчастлив любовью к ней. Ведь с этого, если помнишь, я и начал.

Ф р а н ц и с к

Помню и не могу отрицать, что это так. Теперь я вижу, куда ты незаметно привел меня.

А в г у с т и н

Для того чтобы ты ясно видел это, напряги свое внимание. Ничто в такой степени не порождает забвения Бога или презрения к нему, как любовь к преходящим вещам, в особенности та, которую, собственно, обозначают именем «Амор» (что превосходит всякое кощунство), которую называют даже Богом, очевидно, для того, чтобы сколько-нибудь извинить человеческое безумие небесным оправданием и чтобы под видом божественного внушения свободнее совершать этот страшный грех. Нельзя удивляться тому, что эта страсть имеет такую силу в человеческих сердцах; ибо в других страстях вас увлекают наружный вид вещи, надежда на наслаждение или вспышка вашего собственного воображения, в любви же не только действует все это, но еще присоединяется взаимность чувства, и если эта надежда вовсе потеряна, то и сама любовь неизбежно ослабевает; так что в других случаях вы просто любите, здесь же любовь обоюдна, и смертное сердце как бы подстрекается взаим-

ными шпорами. По-видимому, не даром наш Цицерон сказал, что «из всех душевных страстей, бесспорно, ни одна не лютее любви», и, очевидно, он был твердо убежден в этом, если прибавил: «бесспорно» — ведь он же в четырех книгах защищал Академию, сомневавшуюся во всем.

Ф р а н ц и с к

Я часто замечал это место и удивлялся тому, что он назвал любовь лютейшею из всех страстей.

А в г у с т и н

Ты вовсе не удивлялся бы этому, если бы забвение не овладело твоей душою. Но краткого напоминания будет довольно, чтобы ты вспомнил многие горести. Подумай только: с тех пор как эта чума охватила твой ум, ты внезапно весь изошел в столах и дошел до такого жалкого состояния, что с пагубным сладострастием упиваешься своими слезами и вздохами. Твои ночи были бессонны, всю ночь напролет в твоих устах было имя любимой, ты презирал все на свете, ненавидел жизнь и жаждал смерти, искал печального уединения и бежал людей, так что о тебе не с меньшим правом, нежели о Беллерофонте, можно было сказать словами Гомера:

Он по равнине Скитаний блуждал, одинок, и, тоскуя,
Сам себе сердце снедал, и стези убегал человечей.

Отсюда бледность и худоба и преждевременное увядание молодости, далее — печальные и вечно влажные от слез глаза, помраченный ум и беспокойные сны и жалобные стоны во сне, слабый голос, хриплый от печали, и прерывистая, запинающаяся речь, и всевозможные другие признаки крайнего смятения и горя. Это ли, по-твоему, приметы здоровья? Не она ли создавала и кончала для тебя дни праздничные и дни печали? С ее приходом всходило солнце, с ее уходом возвращалась ночь; когда менялось выражение ее лица, менялось и твое настроение; ты становился весел или печален смотря по тому, была ли она весела или печальна; наконец, ты всецело зависел от ее воли. Ты знаешь, что я говорю правду, и даже известную всем. И — верх безрассудства: не довольствуясь видом ее живого лица, ввергшего тебя во все эти беды, ты добыл себе его изображение, созданное талантом знаменитого художника, чтобы иметь возможность всюду носить его с собою, предлог для неиссякаемых слез. Вероятно, опасаясь, чтобы не иссяк их источник, ты с величайшим усердием изыскивал всевозможные средства, будучи небрежным и беспечным во всем остальном. А чтобы достигнуть вершины твоего безумия, перейдем к тому, чем я тебе недавно грозил. Можно ли достаточно осудить или достаточно надивиться на этот

бред твоего обезумевшего духа, что, не меньше очарованный ее именем, чем блеском тела, ты с невероятным тщеславием лелеял все, что было созвучно ему? Почему ты так страстно любил как кесарские, так и поэтические лавры, если не потому, что она носила это имя? С тех пор из-под твоего пера не вышло почти ни одного стихотворения, в котором не упоминалось бы о лавре, как если бы ты обитал близ вод Пеней или был жрецом в горах Кирры. Наконец, так как нелепо было надеяться на кесарский венец, ты столь же нескромно, как ты любил самую возлюбленную, желал со страстью и домогался поэтических лавров, на которые тебе давало право рассчитывать достоинство твоих трудов; и хотя к стяжанию венца несли тебя крылья твоего таланта,— ты содрогнешься, когда вспомнишь про себя, с какими усилиями ты достиг его. Я хорошо знаю, какой ответ готов у тебя, и пока ты еще только открываешь рот, размышляя,— вижу, что делается в твоей душе. Именно, ты размышляешь о том, что этим научным занятиям ты предался несколько раньше, нежели вспыхнула в тебе любовь, и что это поэтическое отличие прельщало твой дух уже в отроческие годы. Я это знаю и не отрицаю этого, но и устарелость этого обычая в течение многих веков, и то, что нынешний век неблагоприятен для таких трудов, и опасности

далеких путешествий, приводивших тебя к порогу не только тюрьмы, но даже смерти, и другие не менее тяжкие превратности судьбы замедлили бы или, может быть, даже поколебали бы твое решение, если бы память о сладостном имени, непрестанно тревожа твой дух, не вытеснила из него всех прочих замыслов и не повлекла тебя через земли и моря, меж стольких подводных камней, в Рим и Неаполь, где ты, наконец, получил то, чего так пламенно желал. Если все это кажется тебе проявлением умеренной страсти, то я должен буду признать, что ты объят безмерным безумием. Я с умыслом оставляю в стороне то, что Цицерон не постеснялся позаимствовать из Теренциева «Евнуха», где сказано:

В любви не тьма ль пороков: подозрений, ссор,
Обид и перемирий? Вновь горит война —
И снова мир.

Узнаешь ли в его словах твои неистовства, особенно ревность, которая, как известно, занимает первое место в любви, как любовь занимает первое место среди страстей? Но ты возражишь мне, может быть, такими словами: «Я не отрицаю, что это так, но у меня есть разум, власть которого может умерить эти пороки». Но Теренций предусмотрел твой ответ, прибавив:

Коль хочешь делать с толком бестолковое,
Нелепое осмысленно,— не значит ли:
С умом, приятель, вздумал ты с ума сойти?

Это замечание, которое ты, без сомнения, признаешь глубоко правильным, преграждает путь, если не ошибаюсь, всем твоим изворотам. Таковы и этим подобны напасти любви, коих точное перечисление для испытавшего ее было бы не нужно, для неиспытанного неправдоподобно. Главнейшее же из всех несчастий — я возвращаюсь к предмету моей речи — то, что любовь заставляет человека забыть как Бога, так и себя самого, ибо каким образом дух, согбенный под бременем стольких зол, может добраться ползком до этого единственного и чистейшего источника подлинного добра? А раз это так, то перестань удивляться тому, что никакая другая страсть души не казалась Туллию более сильной.

Ф р а н ц и с к

Признаюсь, я побежден, ибо все, что ты говоришь, кажется мне почерпнутым из книги опыта. Так как ты упомянул о Теренциевом «Евнухе», то да будет мне позволено вставить здесь жалобу, взятую из того же места:

О, дело недостойное! Как жалок я!
Постыла страсть — а я горю! Погиб — но жив!
Все вижу, знаю — и не знаю, как мне быть!

И я хочу просить у тебя совета словами того же поэта:

Пока есть время, так и сяк умом раскинь.

А в г у с т и н

А я отвечу тебе словами Теренция же:

В котором деле толка нет, ни лада нет,
Совет разумный в деле том не надобен.

Ф р а н ц и с к

Что же мне делать? Или предаться отчаянию?

А в г у с т и н

Раньше должно все испробовать. Выслушай теперь в кратких словах мой обдуманый совет. Ты знаешь, что об этом предмете существуют не только отдельные рассуждения, составленные выдающимися философами, но и целые книги, сочиненные знаменитыми поэтами. Было бы оскорбительно указывать тебе в особенности, учительствующему в этой области, где следует искать и как должно понимать их; но, может быть, не лишним будет объяснить тебе, каким образом прочитанное и понятое может быть применено к твоему спасению. Прежде всего, по словам Цицерона, «некоторые полагают, что старую любовь следует выбивать новою, как гвоздь

гвоздем»; это мнение разделяет и знаток в деле любви, Овидий, провозглашая, как общее правило:

Найден наследник любви,— прежняя страсть умерла,— и это, несомненно, так, ибо душа, раздираемая на части и обуреваемая многими желаниями, слабее влечется к каждой отдельной вещи. Так, говорят, Ганг был разделен персидским царем на бесчисленные рукава и превратился из одной грозной реки во множество безопасных ручьев; так чрез разбросанный отряд враг легко прорывается; так, раскинутый, слабеет пожар; словом, всякая сила в единстве растет, в дроблении уменьшается. Однако можно весьма опасаться, как бы, отрешившись от единой и, если позволительно так сказать, более благородной страсти, ты не стал добычею нескольких и не превратился из влюбленного — в женолюбца, ветрогона и гуляку. А, по моему мнению, если гибель неизбежна, утешительно погибнуть от более благородной болезни. Ты спрашиваешь, что же я тебе посоветую. Я не стал бы порицать тебя, если бы ты собрался с духом и попробовал убежать и начал странствовать из темницы в темницу, ибо тогда можно было бы надеяться, что в этих переходах ты, быть может, обрел бы свободу или попал бы под более легкую власть; но, вырвав

шею из одного ярма, влечь ее по бесчисленным рабствам одно другого гнуснее,— этого я не хвалю.

Ф р а н ц и с к

Позволишь ли, чтобы больной, знающий свою болезнь, прервал немногими словами речь врача?

А в г у с т и н

Почему же не позволить? Не раз врачи находили подходящие средства, руководясь словами больных, как известными указаниями.

Ф р а н ц и с к

Итак, знай это одно — что ничего другого я не могу любить; мой дух привык ей удивляться, глаза привыкли смотреть на нее, и все, что не она, им кажется безобразным и тусклым. Поэтому, приказывая мне любить другую, чтобы тем освободиться от моей любви, ты ставишь мне неисполнимое условие; тогда, конечно, я погиб.

А в г у с т и н

Твой вкус притуплен, аппетит исчез. Итак, раз ты ничего не можешь принять внутрь, необходимо применить к тебе наружные лекарства. Можешь ли ты решиться бежать или уйти в изгнание и жить, не видя знакомых мест?

Ф р а н ц и с к

Могу, хотя она удерживает меня крепчайшими узами.

А в г у с т и н

Если ты сможешь это, ты выздоровеешь; и потому я не могу сказать тебе ничего другого, как только стих Вергилия, несколько измененный:

Долов любезных беги, беги вожделенного брега.

Ибо можешь ли ты когда-нибудь найти безопасность в этих местах, где столь многочисленны следы твоих ран, где и вид нынешнего, и воспоминание о минувшем лишают тебя покоя? Как говорит тот же Цицерон, тебя придется лечить, «подобно выздоравливающим больным, перемною места».

Ф р а н ц и с к

Прошу тебя, подумай, что ты приказываешь мне! Сколько раз, страстно желая выздороветь и зная об этом средстве, я снова и снова пытался бежать, и хотя я притворно выставлял различные причины, но единственной целью всех моих странствований и сельского затворничества всегда была свобода. В погоне за нею я далеко блуждал по Западу и Северу до границ самого

Океана, и ты видишь, сколько это мне помогло. Поэтому меня часто поражало Вергилиевое уподобление:

Так лань, уязвленная острым железом
(Издали, в критских лесах, беспечную жалом летучим
Пастырь сразил невзначай, каленую стрелу наудачу
С лука тугого спустив), по дебрям скачет Диктейским
Дикая, мучима тростью смертельною, бок ей пронзившей.

Я стал похож на эту лань: я бегу, но всюду ношу с собою свое несчастье.

А в г у с т и н

Ты сам ответил себе на тот вопрос, который ставишь мне.

Ф р а н ц и с к

Каким образом?

А в г у с т и н

Ибо ежели человек носит с собою свое несчастье, то перемена мест не исцеляет его, а лишь усиливает его усталость. Поэтому не без основания можно сказать тебе то самое, что сказал Сократ одному юноше, который жаловался, что путешествие не принесло ему никакой пользы: «Это потому, что ты путешествовал с собою». Ты должен прежде всего сбросить с себя это старое бремя твоих забот и подготовить свой

дух и потом уже бежать, ибо дознано на опыте, что как в телесных, так и в духовных недугах лечебное средство бессильно, если больной не предрасположен к нему. Иначе, хотя бы ты проник до крайних пределов Индии, ты всегда должен будешь признать, что Флакк был прав, сказав:

Небо, не душу меняют в заморских чужбинах скитальцы.

Ф р а н ц и с к

Я совершенно сбит с толку. Указывая мне способы лечения и исцеления души, ты говоришь, что я должен сначала лечить и исцелить ее и уже потом бежать. Но душа о том и недоумевает, как ее следует лечить? Ибо, раз она исцелена, что же еще требуется? Если же она не исцелена,— к чему перемена мест? То, что ты от себя прибавил, не уясняет дела. Скажи определенно, к каким лекарствам должно прибегнуть?

А в г у с т и н

Не лечить и исцелить, сказал я, а подготовить следует душу. Впрочем, либо она будет исцелена и тогда перемена мест сможет сохранить ей прочное здоровье, либо она еще не будет исцелена, но только подготовлена,— тогда перемена мест даст ей здоровье; если же она не будет ни излечена, ни подготовлена, то эти скитания, эти

частые передвижения с места на место будут только раздражать ее боль. Я и здесь возьму в свидетели Флакка:

Если твой ум не отгонит забот,— черных дум не разгонит
Выступ надменный земли, над морским кругозором
царящий.

И поистине так. Ты уедешь, преисполненный надежды и желания вернуться, влача с собою все оковы своей души; где бы ты ни был, куда бы ни обернулся, ты всюду будешь видеть лицо и слышать слова оставленной; отсутствуя — ибо таково плачевное преимущество любящих,— ты будешь слышать и видеть отсутствующую... И ты думаешь, что такими увертками можно потушить любовь? Верь мне — она только сильнее разгорается с обеих сторон. Потому-то люди, сведущие в деле любви, между прочим, советуют любовникам время от времени расставаться на короткие сроки, во избежание того, чтобы скука постоянного взаимного присутствия и ухаживания не сделала их равнодушными друг к другу. К этому-то я тебя склоняю, это советую и приказываю: научи свою душу сбросить гнетущее ее бремя и так, без надежды на возвращение, уходи, уходи; тогда ты увидишь, как полезна разлука для исцеления души. Ведь, если бы, попав в зараженное, вредное для твоего тела место, ты жил там тревожною жизнью, в постоянных бо-

лезнях,— разве ты не бежал бы оттуда с тем, чтобы никогда не вернуться? Или — чего я сильно опасуюсь — люди больше заботятся о своем теле, нежели о своей душе?

Ф р а н ц и с к

На этот вопрос пусть ответит человеческий род, а в том не может быть сомнения, что если бы я, по вине местности, подвергся болезням, я постарался бы избавиться от них посредством переселения в более здоровое место, и еще гораздо более я желал бы этого при духовных болезнях. Но их, я вижу, гораздо труднее лечить.

А в г у с т и н

Единогласное свидетельство великих философов удостоверяет, что это мнение ложно. Вот доказательство: всякая болезнь души может быть излечена, если только больной не противится тому, тогда как многие телесные болезни не могут быть излечены никакими средствами. Во всяком случае — чтобы не слишком отвлекаться от темы,— я настаиваю на своем мнении, что необходимо подготовить душу, научить ее отказываться от того, что она любит, и не оборачиваться назад, и не смотреть на то, к чему она привыкла. Только в таком случае путешествие

есть верное средство для влюбленного, и если ты хочешь исцелить свою душу, ты поймешь, что должен поступить именно таким образом.

Ф р а н ц и с к

Чтобы показать тебе, что я понял все сказанное тобою, повторю: неподготовленной душе путешествия не приносят никакой пользы, подготовленную исцеляют, исцеленную охраняют. Не таков ли смысл твоего тройственного завета?

А в г у с т и н

Именно таков, и ты хорошо сжимаешь мою пространную речь.

Ф р а н ц и с к

Верность первых двух положений я понял бы собственным разумением, хотя бы никто не доказывал мне их; что же касается третьего, то не постигаю, зачем нужна разлука душе уже исцеленной и поставленной в безопасное положение, разве только эти слова внушены тебе опасением, чтобы болезнь не вернулась.

А в г у с т и н

Или это кажется тебе маловажным? Если и в телесных недугах надо бояться возврата болезни,

насколько же более должно опасаться его в душевных недугах, где он и возможно и опасней? Сенека едва ли написал что-либо более спасительное и согласное с природою, чем эти строки в одном из своих писем: «Если кто хочет избавиться от любви, он должен избегать всего, что может напомнить ему о любимом теле,— и он указывает причину: — Ибо ничто не возвращается легче, чем любовь». О, как верны эти слова, почерпнутые из глубочайшего опыта! В этом деле я не предпочту им никакого другого свидетельства.

Ф р а н ц и с к

Я также признаю их верными. Но заметь: они относятся не к тем, кто уже избавился от любви, а к тем, кто хочет избавиться.

А в г у с т и н

Они относятся к тем, кому всего более грозит опасность. Ибо всякую рану всего опаснее беречь перед зарубцеванием, всякую болезнь — перед выздоровлением. Но если раньше беречь опаснее, то и позже небрежность не остается безнаказанной. И так как примеры из собственной жизни глубже проникают в душу,— вспомни, как часто ты сам, говорящий здесь со мною, в те дни, когда ты уже считал себя исце-

ленным (и ты был бы в значительной мере исцелен, если бы бежал), бродил по знакомым улицам этого самого города, который был — не скажу причиной, но ареною всех твоих бедствий, и самый вид мест напоминал тебе твои былые суетности, хотя никакая встреча не возбуждала в тебе изумления, и ты вздыхал, и останавливался, и, наконец, едва сдерживая слезы, полубольной, бежал далее, и говорил себе: «Вижу: еще скрываются в этих местах какие-то неведомые засады старого врага; здесь все еще веет былою смертью». Итак, если хочешь послушаться меня,— хотя бы ты и был исцелен (а ты еще очень далек от исцеления), я не советовал бы тебе дольше жить в этих местах, ибо не следует узнику, только что сбросившему оковы, бродить у ворот тюрьмы, хозяин которой упорно, не зная сна, ходит взад и вперед, расставляя западни для поимки тех, чье бегство его особенно печалит:

Легко нисхождение к Аверну:

Денно и ночью зияют разверстые сумрака двери.

Если, как я сказал, эти предосторожности требуются даже для здоровых, то насколько важнее они для тех, которые еще не избавились от болезни! Именно их имел в виду Сенека, говоря те слова. Он обратил свой совет к тем, кому грозит наибольшая опасность, ибо излишне было бы

говорить о тех, кто горит полным пламенем и не думает о спасении; он имел в виду ближайший к ним разряд людей, которые еще пылают, но уже намереваются выйти из пламени. Как часто выздоравливающим вредит ничтожный глоток воды, который до болезни принес бы им пользу; сколь часто усталого опрокидывает слабый толчок, который в полноте сил он перенес бы не шелохнувшись. А как мало нужно подчас, чтобы снова ввергнуть в бездну зол возрождающуюся душу! Стоит увидеть пурпур на плечах другого — и честолюбие воскресает; вид кучи монет возрождает жадность к деньгам, вид красивого тела воспламеняет похоть, легкое движение глаз пробуждает дремлющую любовь. Вследствие вашего безрассудства эти заразы легко проникают в ваши души, а раз узнав дорогу, тем легче возвращаются. Ввиду этого ты должен не только оставить зачумленное место, но и с величайшим старанием избегать всего, что влечет душу к прежним помыслам, чтобы, подобно Орфею, уходя из ада и оглянувшись назад, не потерять сызнова обретенную Эвридику, то есть здоровья. Такова сущность моего совета.

Ф р а н ц и с к

Принимаю его и благодарю тебя, ибо чувствую, что лекарство соответствует моей болезни.

Я намереваюсь уже бежать, но только вот не знаю, куда лучше.

А в г у с т и н

Многие пути открыты тебе во все стороны, много пристаней окрест. Знаю, что более всего тебе нравится Италия и что любовь к родному месту врождена тебе. Да и недаром:

Ведь ни леса изобильной земли Мидийской, ни доли Ганга ль прекрасного, Герма ль, влекущего ил
златоносный,
Славою не победят Италии! Нет, не сравнятся
Бактры, ни Индия с ней, ни страна благовоний — Сабей!

Смысл этих слов великого поэта, столь же красноречивых, как и верных, ты недавно развил подробно в поэме, обращенной к одному из твоих друзей. Поэтому я советую тебе избрать Италию, ибо таковы нравы ее обитателей, небо, окружность омывающего ее моря, гряды Апеннин, пересекающие ее берега, и местоположение всех ее населенных мест, что никакое другое пристанище не может быть более благоприятно для твоих забот. Но я не хотел бы запретить тебя в одном уголке ее. Иди свободно, куда повлечет тебя душа, иди без страха и поспешно, не оборачивайся назад, забудь прошлое и стремись все вперед и вперед. Уже слишком долго ты живешь вне отечества и себя самого: пора тебе вернуться домой, «ибо уже вечереет,— остерегаю тебя

твоими же словами,— а ночь дружна с грабителями». Мне остается сказать еще одно, о чем я едва не забыл: помни,— ты должен до тех пор избегать одиночества, пока не почувствуешь, что в тебе не осталось никаких следов твоей болезни. Когда ты сказал, что сельское отшельничество нисколько не помогало тебе, я вовсе не удивился этому. Ибо какое лекарство, скажи, мог бы ты найти в уединенной и далекой деревне? Признаюсь, не раз, когда ты скрывался там один, вздыхая, и все обращал свои взоры к городу, я сверху смеялся над тобою и говорил себе: «Вот до чего любовь повергла этого несчастного в мертвенное оцепенение и выбила из его памяти стихи, прекрасно известные всякому школьнику. Убегая от своей болезни, он мчится к смерти».

Ф р а н ц и с к

Ты был совершенно прав. Но на какие стихи ты намекаешь?

А в г у с т и н

Они принадлежат Назону.

Бойтесь уединенья, влюбленные! Не удаляйтесь!
Мило безлюдье? В толпе меньше опасностей вам.

Ф р а н ц и с к

Помню как нельзя лучше. Они почти с детства были мне хорошо известны.

А в г у с т и н

Что пользы в том, что ты многое знал, раз ты не умел применять твои знания к твоим нуждам? Я же тем более удивлялся твоему безрассудному исканию одиночества, что ты знал и доводы древних против него, и сам прибавил новые. В самом деле, ты часто жаловался на то, что одиночество не приносит тебе никакой пользы; эту жалобу ты выразил во многих местах, особенно же в той поэме, где ты с необыкновенной прелестью воспел состояние своей души; я наслаждался ее сладостью, пока ты слагал ее, и изумлялся, как может среди душевных бурь исходить из уст одержимого столь сладкозвучная песнь и как сильна должна быть любовь Муз, если они не бегут из привычного жилища, оскорбленные столькими тревогами и таким отчуждением хозяина; ибо слова Платона: «Кто владеет своим рассудком, тщетно стучится в двери поэзии»,— и слова его преемника Аристотеля, что «не бывает великого дарования без примеси безумия», касаются другого и неприменимы к этим исступлениям. Но об этом в другой раз.

Ф р а н ц и с к

Я признаю, что это правда, но я не думал, что написал что-либо благозвучное, что могло бы

нравиться тебе; теперь я начинаю любить ту поэму. Но если у тебя есть еще другое лекарство, прошу тебя, не утай его от человека, нуждающегося в нем.

А в г у с т и н

Излагать все, что знаешь, свойственно скорее хвастуну, нежели другу, подающему совет. Так много лекарств против внутренних и внешних болезней придумано не для того, чтобы употреблять их все вместе, смешивая, при одной и той же болезни, ибо, как говорит Сенека: «Ничто не препятствует выздоровлению в такой степени, как частая перемена лекарств, и рана не заживает, если ее пробуют лечить всевозможными снадобьями», — но для того, чтобы, если одно оказывается недействительным, применить другое. Итак, несмотря на то что против этой болезни существует много различных лекарств, однако я удовольствуюсь немногими из них, сочетав преимущественно те, которые, по моему мнению, должны всего лучше помочь тебе, причем цель моя — не научить тебя чему-либо новому, а только указать тебе, какие из общеизвестных лекарств, на мой взгляд, всего полезнее. Есть три средства, говорит Цицерон, которые способны отвратить душу от любви: пресыщение, стыд и размышление; можно было бы насчитать их

больше и меньше, но чтобы не разойтись со столь авторитетным судьей, согласимся, что их три. О первом было бы излишне говорить, так как ты, конечно, возразил бы, что при данном положении вещей для тебя никогда не может наступить пресыщение в любви. Однако, если бы страсть слушалась разума и умозаключала о будущем по прошлому, ты легко признал бы, что и наиболее любимый предмет может в конце концов вызывать не только пресыщение, но даже скуку и отвращение. Но я уже по опыту знаю, что по этой тропинке мне бесполезно идти, так как, даже признав, что пресыщение в любви возможно и что, раз возникнув, оно убивает любовь, ты будешь, однако, утверждать, что твоя пламенная страсть как нельзя более далека от пресыщения, и я сам должен был бы согласиться с этим. Итак, мне остается говорить только о двух остальных. Я полагаю, ты не станешь отрицать, что природа наделила тебя душою благородной и скромной?

Ф р а н ц и с к

Если я не ошибаюсь, судя сам о себе, это до такой степени верно, что я не раз страдал при мысли, как мало я подхожу и к своему полу, и к этому веку, где, как видишь, все достается бесстыдным — почести, надежды, богатства, превозмогающие и добродетель и счастье.

А в г у с т и н

Итак, разве ты не видишь, насколько противоречат друг другу любовь и стыдливость? В то время как первая подстрекает дух, вторая сдерживает его; первая вонзает шпоры — вторая натягивает узду; первая ни на что не смотрит — вторая непрестанно озирается кругом.

Ф р а н ц и с к

Конечно, вижу, и глубоко скорблю о том, что меня разрывают столь разнородные чувства. Они одолевают меня поочередно с такой силой, что, кидаемый бурями духа то туда, то сюда, я до сих пор не знаю, какому чувству отдаться всецело.

А в г у с т и н

Скажи, пожалуйста, — с твоего позволения, — гляделся ли ты недавно в зеркало?

Ф р а н ц и с к

К чему этот вопрос? Иногда гляжусь.

А в г у с т и н

О, если бы ты гляделся не чаще и не пристальнее, чем подобает! Но я хочу спросить тебя: не видишь ли ты, что твое лицо меняется с каждым днем, и не заметил ли, что на твоих висках местами серебрятся седые волосы?

Ф р а н ц и с к

Я думал, что ты хочешь сказать мне что-нибудь особенное, а расти, стареть и умирать есть общая участь всего, что рождается. Я заметил на себе то же, что вижу почти на всех своих сверстниках; впрочем, не знаю, почему люди теперь раньше стареют, чем в былые времена.

А в г у с т и н

Чужая старость не вернет тебе молодости, и чужая смерть не даст тебе бессмертия; поэтому я оставляю других в стороне и возвращаюсь к тебе. Итак, скажи: вид твоего изменившегося тела вызвал ли какое-нибудь изменение в твоей душе?

Ф р а н ц и с к

Правда, он взволновал ее, но не изменил.

А в г у с т и н

Что же ты почувствовал тогда и что сказал?

Ф р а н ц и с к

Что иное, по твоему мнению, я мог сказать, как не слова императора Домициана: «С юности стойко ношу седину». Пример такого человека утешил меня относительно моих немногих седых

волос, а к кесарю я прибавил еще царя, ибо Нума Помпилий, который вторым носил венец среди римских царей, был, говорят, с юности сед. Нашелся пример и среди поэтов, так как наш Вергилий, в своих «Буколиках», написанных им, как известно, на тридцать втором году жизни, сказал о самом себе в лице пастуха:

В годы, когда под железом брада упала, белея.

А в г у с т и н

У тебя примеров тьма; о, если бы не меньше было у тебя и таких, которые побуждали бы тебя думать о смерти! Ибо я не одобряю тех примеров, которые научают скрывать от себя, что седые волосы — свидетели приближающейся старости и предвестники смерти. В самом деле, что другое внушают эти примеры, как не пренебрегать скоротечностью времени и забывать о смерти? Между тем единственная цель нашей беседы, — чтобы ты всегда помнил о ней. И вот, когда я советую тебе помнить о твоей седине, ты приводишь в пример множество знаменитых людей, которые были седы! Что в том? Если бы ты мог утверждать, что они были бессмертны, ты действительно был бы вправе, опираясь на их пример, не бояться седины. Упрекни я тебя в плешивости, — ты, вероятно, сослался бы на Юлия Цезаря.

Ф р а н ц и с к

Конечно, ни на кого другого, ибо где я нашел бы более знаменитый пример? Если не ошибаюсь, большое утешение быть окруженным столь прославленными товарищами. Поэтому, признаюсь,— я постоянно пользуюсь подобными примерами, как бы предметами ежедневного употребления, ибо мне отраднo иметь что-нибудь под рукою, чем я мог бы утешаться как в тех невзгодах, которым подвергают меня либо природа, либо случай, так и в тех, которым они еще могут меня подвергнуть; а дать мне это утешение могут только или могучий ум, или славный пример. Поэтому, если бы ты стал упрекать меня в том, что я боюсь грома, чего я не могу отрицать,— и не последняя причина моей любви к лавру та, что, по преданию, молния не ударяет в это дерево,— то я ответил бы, что кесарь Август страдал тем же недугом. Если бы ты назвал меня слепым и я действительно был бы таков, то я сказал бы, что таковы были и Аппий слепой, и Гомер, царь поэтов; если бы ты назвал меня одноглазым, то я, как щитом, прикрылся бы примером Ганнибала, вождя финикийцев, или Филиппа, царя македонского; если бы ты назвал меня глуховатым, я назвал бы Марка Красса; если бы ты сказал, что я не переносу жары,—

Александра Македонского. Было бы слишком долго перебирать все, но по этим образчикам ты можешь судить об остальном.

А в г у с т и н

Разумеется. Не скажу, чтобы этот подбор примеров мне не нравился, лишь бы он не делал тебя беспечным, а только разгонял надолго страх и уныние. Я хвалю все, что научало бы тебя не страшиться приближения старости и не ненавидеть ее, когда она настанет, но глубоко ненавижу и осуждаю все то, что способно внушить тебе мысль, что старость — не исход из этой жизни и что не следует размышлять о смерти. Спокойно переносить преждевременную седину есть признак доброго нрава; но замедлять старость, скрадывать годы своего возраста, пенять на слишком раннюю седину и либо скрывать, либо выщипывать седые волосы — есть огромное, хотя и общераспространенное безумие. О слепцы! Вы не видите, с какой быстротою вращаются светила, чей бег пожирает и истребляет время вашей мимолетной жизни, и дивитесь наступлению старости, которую так стремительно приближает к вам быстрая смена дней. Две вещи вовлекают вас в это безрассудство. Первое — то, что столь краткую жизнь одни подразделяют на четыре, другие на шесть, третьи даже еще на большее

число малых частей. Таким образом вы стараетесь крошечную вещь растянуть в числе, потому что не можете растянуть ее в действительности. Но к чему служит это дробление? Придумай, сколько хочешь, частиц,— почти все они исчезают в мгновение ока:

Ты столь недавно родился: чуть отроком милым расцвел ты,—
Юноша вскоре и муж.

Видишь, какой стремительной сменою слов поэт тончайшего ума изобразил движение быстротекущей жизни? Поэтому не сильтесь растягивать то, что природа, мать всего сущего, сжимает. Второе — то, что вы стареете среди забав и ложных радостей; и поэтому, как трояне, проведя таким же образом свою последнюю ночь, оставались беспечными:

В час, когда конь роковой на троянские стены крутые
Прянул и, тяжкий, в утробе принес к ним латников
вражьих,—

подобно тому и вы не замечаете, как старость, ведя за собой вооруженную и неотразимую смерть, переходит чрез стены вашего неохраняемого тела, пока наконец окажется, что:

Вниз по веревке спусаясь,
Вторглись враги в град, и сном и вином погребенный,—
ибо вы не менее погружены в телесную кость
и в сладкое обольщение преходящих вещей, неже-

ли те, по словам Марона, были погружены в сон и опьянение. Так и сатирик не без изящества говорит:

Вянет юность, как цвет однодневный;
Скупю отчисленных дней, торопясь, убывает остаток.
Буйные, все еще пьем и венков, благовоний, любовниц
Требуем: взглянем—подсела к нам гостьей неузнанной
старость.

И вот (чтобы вернуться к предмету нашей речи), ее-то, когда она уже подкралась и стучится в дверь, ты силишься не впустить, утверждая, что она опередила срок, установленный законом природы? Ты рад, когда с тобою встречается кто-нибудь — еще не старик, — который заявляет, что видал тебя маленьким ребенком, особенно ежели он, как это общепринято в разговоре, утверждает, что видел тебя таким не далее как вчера или третьего дня; и ты не замечаешь, что то же самое можно сказать любому дряхлому старцу, ибо кто не был ребенком еще вчера, вернее — кто и сейчас не ребенок? Мы на каждом шагу видим девяностолетних мальчиков, ссорящихся из-за пустяков и все еще погруженных в изучение ребряческих наук. Дни бегут, тело дряхлеет, а душа не меняется; все портится и гниет, а она не достигает своей зрелости. Правду гласит поговорка: одна душа изнашивает несколько тел. Ребряческий возраст проходит, но ребрячество, как говорит Сенека, остается; и верь мне, ты уже не

настолько ребенок, как тебе, может быть, кажется: ведь большая часть людей не достигает того возраста, в каком ты находишься. Поэтому да будет тебе стыдно слыть влюбленным стариком, да будет тебе стыдно так долго быть предметом народных толков, и если не привлекает тебя почет истинной славы и не устрашает бесчестье,— поддержи переменою своего поведения, по крайней мере, чужую честь, потому что, если не ошибаюсь, должно беречь свое доброе имя уже для того одного, чтобы оградить своих друзей от позорного обвинения во лжи. Всякий человек должен заботиться об этом, ты же — тем рачительнее, что тебе надлежит оправдать такое множество людей, говорящих о тебе, ибо:

Труд великий — стоять у славы великой на страже.

Ежели в твоей «Африке» ты заставляешь твоего любимца Сципиона выслушать этот совет от его свирепейшего врага, прими теперь сам тот же совет из уст любящего отца. Оставь ребяческий вздор, погаси юношеское пламя, перестань вечно размышлять о том, чем ты будешь, сознай наконец, что ты есть, не думай, что зеркало без надобности поставлено пред тобою, вспомни, что написано в «*Questionibus naturalibus*»: «Ибо для того изобретены зеркала, чтобы человек знал самого себя. Многие извлекли отсюда, во-первых,

познание самих себя, во-вторых, и прямые советы: красивый — да избегает срама, некрасивый — да научится искупать добродетелями телесные недостатки, юноша — да познает, что в этом возрасте должно учиться и начинать деятельность мужа, старик — да откажется от плотских мерзостей и начнет наконец помышлять о смерти».

Ф р а н ц и с к

Я всегда помню эти слова, с тех пор как впервые прочитал их, ибо они достойны памяти и содержат разумный совет.

А в г у с т и н

Какая польза от того, что ты читал и помнишь их? Было бы простительнее, если бы ты мог прикрываться щитом незнания, ибо разве не стыдно тебе, что, зная их, ты с появлением седины нисколько не изменился?

Ф р а н ц и с к

Мне стыдно, мне больно, я раскаиваюсь, но больше не могу ничего сделать. Но ты знаешь, какое утешение для меня, что и она стареет вместе со мною.

А в г у с т и н

Ты запомнил, вероятно, слова Юлии, дочери кесаря Августа, которая в ответ на упреки родителя, что ее беседа не так серьезна, как бесе-

да Ливии, отклонила отцовское увещание остроумнейшим возражением: «И твой укор будет стареть вместе со мною». Но спрашиваю тебя: считаешь ли ты более пристойным в пожилом возрасте пылать страстью к старухе, нежели любить молодую девушку? Напротив, это тем гнуснее, что повод к любви здесь слабее. Поэтому стыдись, что твоя душа нисколько не меняется, тогда как тело меняется непрерывно. Вот все, что по времени надлежало сказать о стыде. Но так как, по мнению Цицерона, крайне нелепо, чтобы стыд становился на место разума, то постараемся почерпнуть помощь в самом источнике целебных средств, то есть в разуме. Эту помощь подаст нам углубленное размышление, которое я последним назвал из трех вещей, способных отвлечь душу от любви. Знай же, что я зову тебя теперь в ту крепость, которая одна может оградить тебя от набегов страстей и стяжать тебе имя человека. Итак, подумай прежде всего о благородстве души, которое столь велико, что, если бы я захотел говорить о нем обстоятельно, мне пришлось бы написать целую книгу. Подумай о бренности и вместе об омерзительности тела, что может дать не менее обильный предмет для размышления. Подумай о краткости жизни, о чем существуют книги, написанные выдающимися людьми. Подумай

о скоротечности времени, которой никто не мог бы изобразить словами. Подумай о смерти, столь неизбежной, и о смертном часе, столь неизвестном, грозящем во всяком месте и во всякий час. Вспомни, что люди ошибаются только в том, что рассчитывают отсрочить то, что не может быть отсрочено, ибо нет человека, который бы настолько не помнил себя, чтобы, будучи спрошен, не ответил, что когда-нибудь он умрет. Итак, умоляю тебя, да не обольщает тебя надежда на долгую жизнь, обманувшая уже столь многих,— напротив, прими в руководство этот стих, изреченный как бы небесным оракулом:

Мысли на каждом рассвете: мой день рассветает
последний.

В самом деле, разве всякий день, восходящий для смертного, не есть либо его последний день, либо очень близкий к последнему? Подумай также, как стыдно, что на тебя указывают пальцем, что ты сделался предметом народных толков. Подумай, насколько твое поведение противоречит твоим верованиям. Подумай, сколько вреда принесла та женщина твоей душе, твоему телу и твоему благополучию. Подумай, как много ты претерпел из-за нее без всякой пользы. Подумай, сколько раз обрушивались на тебя насмешки, презрение, пренебрежение. Подумай, сколько

сладких речей, сколько жалоб, сколько слез ты бросил на ветер. Вспомни, как при этом сурова и надменна часто была ее бровь, а если когда-нибудь она и бывала милостивее,— сколь кратки были эти настроения и непостоянное летнего ветерка. Подумай, насколько ты увеличил ее славу и насколько она умалила твою жизнь, как ты радел о ее имени и как мало она всегда заботилась о твоём состоянии. Подумай, насколько ты ею был удален от любви к Богу и в какие впал бедствия, кои я знаю, но не назову, дабы не навлечь на себя укора, если кто-нибудь случайно подслушивает эти наши беседы. Подумай, сколько дел осаждают тебя со всех сторон, которым предаться было бы для тебя и полезнее и почетнее; подумай, сколько на руках у тебя работ незаконченных, которые завершить было бы гораздо справедливее, вместо того чтобы делить этот краткий промежуток времени на столь неравные части. Наконец, чего ты добиваешься столь пламенно? Об этом должно подумывать внимательно и прилежно, дабы, бежав, ты не оказался еще теснее привязанным, как неоднократно случается со многими, когда обаяние внешней красоты проникает в душу чрез какие-то узкие щели и усиливается от плохих лекарств. Ибо лишь немногие, всосав однажды сей яд опьяняющего сладострастия, находят в себе доста-

точно мужества, чтобы разглядеть, а тем более — вполне сознать омерзительность женского тела, о которой я говорю. Душа легко падает вновь, и, влекомая природою, падает всего легче на ту сторону, к какой она всего дольше была прикреплена; нужно всемерно остерегаться, чтобы этого не случилось. Изгони всякое воспоминание о прежних твоих заботах, отбрось всякое помышление, напоминающее о том, чем были полны и как сменялись минувшие годы, и, как говорится, сокруши о камень младенцев твоих, дабы, выросши, они сами не повергли тебя в грязь. В то же время стучись в небо благочестивыми речами, утомляй слух небесного царя набожными молитвами, не проводи ни одного дня, ни одной ночи без слезных молений, в надежде, что Всемогущий, сжалившись над тобой, быть может, положит конец столь тяжким страданиям. Вот как ты должен поступать и чего должен остерегаться. Если ты будешь старательно соблюдать все это, Господь, я надеюсь, придет тебе на помощь и тебя поддержит десница непобедимого освободителя. Но так как я уже много говорил об одной болезни (хотя и мало по твоей нужде, но слишком достаточно при краткости отмеренного нам времени), то перейдем к другому. Остается последний недуг, от которого я попытаюсь теперь излечить тебя.

Ф р а н ц и с к

Сделай это, отец добрейший, потому что от остальных я хотя не вовсе излечен, но все же чувствую большое облегчение.

А в г у с т и н

Ты чрезмерно жаждешь славы людской и бессмертия своего имени.

Ф р а н ц и с к

Вполне признаю это и никакими средствами не могу обуздать этой жажды.

А в г у с т и н

Между тем можно сильно опасаться, как бы, добиваясь необузданно этого пустого бессмертия, ты тем не закрыл себе пути к истинному бессмертию.

Ф р а н ц и с к

Этого, среди других вещей, боюсь и я, но надеюсь преимущественно от тебя узнать, какими средствами я могу себя обезопасить, так как ты дал мне лекарства и против более тяжких болезней.

А в г у с т и н

Знай, что ни одна из твоих болезней не так опасна, как эта, хотя некоторые, может быть, более гнусны. Но поведай: что такое, по-твоему, слава, которой ты так страстно домогаешься?

Ф р а н ц и с к

Не знаю, требуешь ли ты определения? Но кому она знакома более, нежели тебе?

А в г у с т и н

А тебе известно слово «слава», самая же вещь, как видно по твоим поступкам, незнакома, ибо, ежели бы ты знал ее, ты бы никогда не жаждал ее так пылко. В самом деле, признаешь ли ты ее «почетной и далеко распространенной молвою о заслугах, оказанных согражданам, или отечеству, или всему человеческому роду», как в одном месте утверждает Марк Туллий или как он же говорит в другом месте, «часто повторяемой хвалебной молвою о ком-нибудь», — в обоих случаях ты найдешь, что слава — не что иное, как молва. А знаешь ли ты, что такое молва?

Ф р а н ц и с к

В настоящую минуту это мне не приходит на ум, я боюсь сказать что-нибудь нелепое. Поэтому я лучше умолчу о том, каково мое мнение.

А в г у с т и н

Это, по крайней мере, благоразумно и скромно, потому что во всяком серьезном и особенно во всяком спорном разговоре следует взвешивать не столько — что сказать, сколько — чего не го-

ворить, ибо осуждение за дурно сказанное — больше, нежели хвала за сказанное хорошо. Итак, знай, что молва — не что иное, как словесные толки об одном, распространяемые устами многих.

Ф р а н ц и с к

Мне нравится это определение или, если угодно, описание.

А в г у с т и н

Итак, это — лишь дуновение, переменчивый ветерок, и — что покажется тебе еще более досадным — дуновение многих людей. Я знаю, с кем говорю; я заметил, что никто не ненавидит нравы и обычай толпы более, чем ты. Смотри же, как превратны твои суждения! Чьи поступки ты осуждаешь — тех пересудами ты тешишься, и если бы ты только тешился ими, а не видел в них вершину своего счастья! Ибо какова цель этого неустанного труда, постоянных бдений и страстной преданности научным занятиям? Ты скажешь, может быть: та, чтобы накопить знания, которые могут быть тебе полезны в жизни. Но ведь ты уже давно изучил все, что необходимо как для жизни, так и для смерти; итак, следовало скорее пробовать на опыте, как бы перевести в действие эти познания, нежели продолжать многотрудное изучение, где на каждом шагу

открываются новые тайны и неразрешимые загадки и где изысканиям нет конца. Прибавь, что всего тщательнее ты отделявал те твои труды, которые могут нравиться толпе, силясь угодить тем самым людям, которые всего больше не нравились тебе, собирая у поэтов, у историков — словом, всюду цветочки красноречия, чтобы очаровывать ими уши слушателей.

Ф р а н ц и с к

Пощади меня, я не могу молча слушать это. Никогда, с тех пор как я вышел из детского возраста, я не имел пристрастия к цветочкам знания, ибо помнил многие изящные изречения Цицерона, направленные против грабителей слова, и особенно это замечание Сенеки: «Стыдно мужу искать цветочков и подкреплять свою речь общеизвестными речениями и опираться исключительно на память».

А в г у с т и н

Да и я, говоря это, не обвинял тебя ни в лени, ни в скудости памяти; но я ставил тебе в упрек, что ты запоминал наиболее яркие места из читанного тобою, чтобы развлекать ими своих приятелей, и отбирал как бы из огромной груды наиболее изящные выражения, чтобы потчевать ими друзей, а все это — лишь средства для уловления пустой славы. Наконец, не довольству-

ясь повседневным трудом, который, несмотря на громадную затрату времени, сулил тебе известность лишь в нынешнем веке, ты протер свои замыслы в далекое будущее и возжелал славы между потомками. Для этого ты протянул руку к предметам более высоким: ты предпринял написать историю от царя Ромула до кесаря Тита — огромное произведение, требующее много времени и труда. Еще не доведя его до конца, подстрекаемый нестерпимой жаждою славы, ты как бы на поэтическом корабле переправился в Африку и теперь так усердно трудишься над песнями упомянутой «Африки», что других книг уже не оставишь. Так, расточая ценнейшее и незаменимое богатство, ты отдаешь всю свою жизнь этим двум заботам, — о бесчисленных других, которые примешиваются к этим, я умалчиваю; ты пишешь о других и в это время забываешь о самом себе, и разве ты знаешь, не вырвет ли смерть усталое перо из твоей руки раньше, нежели оба эти труда будут кончены, и ты, в неумеренной жажде славы спеша к ней двумя путями, ни одним не достигнешь своей цели?

Ф р а н ц и с к

Признаюсь, иногда я боялся этого. Когда постигла меня тяжкая болезнь, я страшился близкой смерти, и тогда ничто так не мучило меня,

как мысль о том, что я оставляю «Африку» готовую лишь наполовину; не желая, чтобы другой исправил ее, я решил собственноручно предать ее огню, потому что никому из моих друзей не доверял настолько, чтобы поручить ему сделать это после моей смерти; я помнил, что одной этой просьбе нашего Вергилия не внял император кесарь Август. Коротко сказать, немногого недоставало, чтобы, кроме палящих лучей близкого солнца, действию которых моя «Африка» всегда подвержена, кроме римских факелов, которыми она некогда была трижды сильно обожжена,—немногого недоставало, чтобы она сгорела еще от моих собственных рук. Но об этом в другой раз, ибо это воспоминание слишком горько.

А в г у с т и н

Этим рассказом ты подкрепляешь мое суждение. День развязки несколько отсрочен, но сущность остается та же. Что может быть глупее, как полагать столько труда на дело, успех которого сомнителен? А я знаю, что соблазняет тебя не бросать начатой работы: одна лишь надежда окончить ее. Так как, если не ошибаюсь, мне было бы трудно ослабить в тебе эту надежду, то я попытаюсь моей речью усилить ее, чтобы доказать тебе, что даже в таком виде она далеко не соответствует столь обширным трудам. Итак,

вообрази, что у тебя в изобилии и времени, и досуга, и спокойствия, что исчезли и душевная омертвелость, и телесное изнеможение, и все препоны судьбы, которые, временно охлаждая жар писания, часто прерывали торопливый бег твоего пера; вообрази, что все сложилось для тебя как нельзя удачнее и лучше, нежели ты мог бы желать,—какой же великий труд ты хотел бы тогда предпринять?

Ф р а н ц и с к

Разумеется, прекрасный, редкий и выдающийся.

А в г у с т и н

Не буду слишком противоречить тебе; готов допустить, что это будет прекрасный труд. Но если бы ты знал, сколь более прекрасным трудам он мешает, ты ужаснулся бы своего желания. Ибо, во-первых,—осмелюсь сказать,—он удаляет твою душу от всех забот высшего порядка, и сверх того, самый этот прекрасный труд не может снискать ни далекой, ни долгой славы, ибо он связан ограниченностью места и времени.

Ф р а н ц и с к

Я знаю эту старую, избитую истину философов, что вся земля подобна одной малой точке, что одна душа живет несчетные тысячи лет, слава же людская не способна наполнить ни эту точ-

ку, ни душу,— и другие изречения такого рода, которыми пытаются отвлечь дух от любви к славе. Но прошу тебя: если у тебя есть более веские доводы, изложи их, ибо я по опыту знаю, что все это хотя звучит внушительно, но мало действует. Ведь я не мечтаю стать богом, стяжать бессмертие и охватить небо и землю; мне довольно людской славы, ее я жажду и, смертный сам, желаю лишь смертного.

А в г у с т и н

О, как ты жалок, если ты говоришь правду! Раз ты не жаждешь бессмертного, раз не помнишь о вечном,— ты весь земной, твое дело проиграно, надежды нет больше.

Ф р а н ц и с к

Да избавит меня Бог от такого безумия. Мне свидетель мой дух, знающий все мои заботы, что я всегда пылал любовью к вечности. Я сказал, или, ежели я нечаянно оговорился, я хотел сказать только, что смертным я пользуюсь как смертным и не пытаюсь насиловать природу вещей безмерным и гордым желанием; я домогаюсь людской славы, вполне сознавая, что и я и она смертны.

А в г у с т и н

Насколько это разумно, настолько же в высшей степени нелепо то, что ради пустого дунове-

ния, которое, как ты уже сам признаешь, исчезнет без следа, ты покидаешь пребывающее вечно.

Ф р а н ц и с к

Нисколько не покидаю, но, может быть, отсрочиваю.

А в г у с т и н

Но как опасна отсрочка при такой быстроте непостоянного времени, при такой скоротечности жизни! И прошу тебя, ответь мне на следующий вопрос: если бы тот, кто один определяет срок жизни и смерти, нынче назначил тебе только один полный год жизни, и тебе это было бы известно с совершенной достоверностью, как ты решил бы истратить время этого года?

Ф р а н ц и с к

Я стал бы тратить его крайне скупо и осмотрительно и всемерно заботился бы о том, чтобы употреблять его лишь на существенные дела. Едва ли, я думаю, найдется такой бешеный и наглый человек, который не ответил бы точно так же.

А в г у с т и н

Одобряю ответ; но удивление, какое вызывает во мне безумие людей в этом деле, не мог бы выразить ни я, ни даже все, кто когда-либо изу-

чал искусство слова. Если бы даже собрать воедино все их дарования и усилия, их красноречие изнемогло бы пред истиной.

Ф р а н ц и с к

В чем причина столь сильного удивления?

А в г у с т и н

Причина та, что вы необыкновенно скупы на все надежное и охотно тратите на все ненадежное, тогда как, не будь вы совершенно безумны, вы должны были бы поступать наоборот. Ведь как ни короток годичный срок, но раз он обязан тем, кто не обманывает и кого невозможно обмануть,— его можно было бы путем деления на части использовать более или менее свободно, заранее решив посвятить последние часы заботам о спасении души. Но таково ваше общее преступное и ужасное безумие, что, не зная, достанет ли времени на последние, высшие нужды, вы тратите его на смешной вздор, как если бы вам было отпущено времени в изобилии. Тот, кому отмерен для жизни год, обладает чем-то достоверным, хотя и небольшим; тот же, кто живет под властью бессрочной смерти (а под этой властью живете вы все, смертные), тот не уверен ни в одном годе, ни в одном дне, ни в одном даже целом часе. Кому назначено прожить год, у того, по истечении шести месяцев, остается еще срок

в полгода; тебе же, раз потерял нынешний день, кто ручается за завтрашний? Вот слова Цицерона: «Нет никакого сомнения, что нам придется умереть, но неизвестно, придется ли умереть уже сегодня, и нет никого, как бы молод он ни был, кто мог быть уверен, что проживет до вечера». Поэтому я спрашиваю тебя и о том же спрашиваю всех смертных, которые, зарясь на будущее, пренебрегают настоящим: кто знает — Жизни вчерашний итог возрастет ли на день завтра?

Ф р а н ц и с к

Конечно, никто, отвечаю я за себя и за всех; но мы рассчитываем, по крайней мере, на год, на который, по мнению Цицерона, надеется всякий человек, как бы стар ни был.

А в г у с т и н

Но, как он же думает, безрассудна надежда не только стариков, но и юношей, когда они рассчитывают на сомнительное вместо несомненного. Но допустим — хотя это совершенно невозможно, — что продолжительность вашей жизни и велика и обеспечена, — не кажется ли тебе крайним безумием тратить лучшие годы и прекраснейшую часть жизни либо на то, чтобы нравиться глазам другого человека, либо на то, чтобы очаровывать слух людей, а Богу и себе остав-

лять худшие и последние годы, уже почти ни на что не пригодные, приносящие вместе с концом жизни и отвращение к ней, как если бы спасение вашей души было наименьшею из ваших забот? Итак, хотя бы срок был точно отмерен, не кажется ли тебе превратным такой порядок, где лучшее поставлено позади?

Ф р а н ц и с к

Однако мой замысел имеет некоторое основание. Я говорю себе: пока человек пребывает здесь, он должен добиваться той славы, на какую можно здесь рассчитывать, а ту, большую, он вкусит на небе, где он не захочет уже и думать об этой земной. Следовательно, порядок таков, чтобы смертные прежде всего заботились о смертных вещах и чтобы вечное следовало за преходящим, ибо переход от последнего к первому вполне последователен, тогда как от вечного к преходящему вовсе нет перехода.

А в г у с т и н

Глупейший человечек! Значит, ты надеешься вкусить и все улады неба, и все утехи земли и думаешь, что и там и здесь все пойдет как нельзя успешнее по твоему желанию? Но тысячи людей были тысячи раз обмануты этой надеждой, и бесчисленные души ввергла она в ад, ибо, думая, что стоят одной ногою на земле, другою

на небе, они не сумели ни здесь удержаться, ни туда взойти и потому плачевно упали вниз, и дыхание жизни оставило их внезапно, либо во цвете лет, либо в разгаре приготовлений. И ты не думаешь, что и тебя может постигнуть то же, что постигло столь многих? Что, если среди твоих многочисленных предприятий ты вдруг, чего Боже сохрани, потерпишь крушение,— как будут терзать тебя боль и стыд и позднее раскаяние о том, что, гоняясь за многими вещами, ты упустил каждую в отдельности!

Ф р а н ц и с к

Да сжалится надо мною Всевышний, чтобы этого не случилось!

А в г у с т и н

Небесное милосердие, правда, разрешает человеческое безумие, но не извиняет его. Не возлагай слишком больших надежд на милосердие, ибо, если отчаивающихся Господь ненавидит, то над питающими нелепые надежды он смеется. Я сожалею, что услышал из твоих уст, будто можно пренебречь ветхой, как ты сказал, побасенкой философов об этом предмете. Это ли басня, скажи, когда геометрическими доводами доказывают, что вся земля мала и что она представляет собою узкий, хотя и длинный остров?

Или то басня, когда доказывают, что из всех так называемых поясов, на которые иные делят землю, обширнейший, именно средний, необитаем для людей вследствие палящего солнца, а два крайних, справа и слева, необитаемы вследствие жестоких холодов и вечно покрывающего их льда, а обитаемы только оба остальных, между средним и крайними? Или то басня, когда доказывают, что из двух половин этого обитаемого пространства одна, лежащая у вас под ногами, недоступна для вас, так как отрезана широким морем (насчет того, живут ли там люди, как тебе известно, издавна существует большое разногласие между ученейшими людьми, я же свое мнение об этом предмете изложил в книге о Царствии Божием, которую ты без сомнения читал), другая же либо целиком предоставлена вам для обитания, либо, как полагают некоторые, разделена на две части: одна служит для ваших нужд, другая же окружена излучинами северного океана, которые закрывают доступ к ней? Или то басня, когда доказывают, что даже это столь малое пространство, где вам можно жить, еще уменьшено заливами, болотами и пустынями, и когда ту пядь земли, на которой вы так величаетесь, сводят почти на ничто? Или, может быть, то басня, когда вам показывают, что на этом ничтожном клочке земли, где вы обитаете,

существуют разнообразные уклады жизни, противоположные религии, разноязычные наречия и несходные обычаи, что и преграждает человеку возможность распространять свое имя на далекое расстояние? Ежели все это кажется тебе баснословным, то баснословно и все то, чего я жду от тебя, ибо я полагал, что никто не знает этого лучше тебя. Ведь, оставляя в стороне воззрения Цицерона и Марона и другие физические и поэтические учения об этом предмете, с которыми ты, по-видимому, как нельзя лучше знаком,— я знал, что еще недавно ты в своей «Африке» выразил это самое мнение в прекрасных стихах, там, где ты сказал:

Замкнута в тесных пределах Земля, невеликий
Остров; его ж Океан круговым обтекает извивом.
пространством

И далее ты прибавил разные другие соображения; если ты считал их ложными, то удивляюсь, зачем ты так настойчиво утверждал их? Далее, что я могу сказать о скоротечности земной славы и о тесноте времени, когда ты сам знаешь, как коротка и юна по сравнению с вечностью память даже о древнейших вещах? Я не требую, чтобы ты вернулся к представлениям древних, утверждавших, что земля часто подвергалась пожарам и наводнениям, о которых повествуют

Платонов «Тимей» и шестая книга Цицероновой «Республики», ибо хотя эти предания многим кажутся правдоподобными, но, без сомнения, они идут в разрез истинной религии, коей ты наставлен. Да и помимо этого, как много есть причин, делающих невозможною продолжительную, не говорю уже вечную, славу! Во-первых, смерть тех людей, с которыми человек прожил свою жизнь, и забывчивость — естественный недуг старости; далее — одновременное возрастание славы все новых людей, которая своим расцветом подчас немало умаляет славу старых имен и которая мнит себя тем большей, чем глубже она отодвигает старших в тень; сюда присоединяется зависть, неустанно преследующая тех, кто умирает в ореоле славы; далее — ненависть к истине и враждебное чувство, какое возбуждает в толпе жизнь даровитых людей; далее — непостоянство общественного мнения; наконец, разрушение гробниц, которые превратить в развалины способен, по словам Ювенала, «и бесплодной смоковницы корень», что ты в своей «Африке» не без остроумия называешь второй смертью; и я скажу тебе теперь теми же словами, которые ты там вкладываешь в уста другого:

Вскоре поникнет курган, и мрамор, надписью гордый,
Рухнет. О сын мой, в тот день ты смерть испытаешь
вторую.

Итак, заманчива ли и бессмертна ли слава, которой способно повредить падение одного-единственного камня? Прибавь к этому гибель книг, в которых ваше имя записано вашей собственной или чужой рукою; пусть это забвение наступает позже, так как книги дольше хранят память, нежели гробницы, однако их гибель неизбежна вследствие бесчисленных напастей естественных и случайных, которым наравне со всем прочим подвержены и книги; да и помимо всего этого, книгам присущи и своего рода одряхление, и своего рода смертность, ибо — я хочу опровергнуть твое ребяческое заблуждение преимущественно твоими же словами —

Смертным быть надлежит всему, что напрасным усилием
Смертная мысль создала.

Да что! я не устану донимать тебя твоими же стишками:

Когда же и книги умрут, в ту годину
Снова сам ты умрешь. Так и третья смерть неизбежна.

Теперь ты знаешь мое мнение о славе. Я изложил его многословнее, чем следовало для меня и для тебя, но короче, нежели требовало существо дела. Или, может быть, все это еще и теперь кажется тебе баснословным?

Ф р а н ц и с к

Нисколько; твои слова подействовали на меня не так, как действует басня; а, напротив, родили во мне новое желание отказаться от моего старого желания. Ибо, хотя почти все это было мне уже раньше известно и я часто слышал это, — ведь, как говорит наш Теренций, «нет слов, что прежде не были бы сказаны», — однако и возвышенность слов, и порядок речи, и достоинство говорящего действуют сильно. Но я хотел бы услышать твое окончательное суждение об этом деле: приказываешь ли ты мне оставить все мои занятия жить без славы, или ты укажешь мне какой-нибудь средний путь?

А в г у с т и н

Никогда я не посоветую тебе жить без славы, но снова и снова посоветую не предпочитать искания славы — добродетели. Ведь ты знаешь, что слава — как бы тень добродетели; и вот, подобно тому как ваше тело не может не бросать тени при палящем солнце, точно так же добродетель не может не породить славы при повсюдном сиянии Бога. Поэтому, кто отказывается от истинной славы, очевидно, отказывается от самой добродетели, а если устранить добродетель, жизнь человека остается голою, вполне подобной жизни бессловесных животных и гото-

вой во всем следовать голосу похоти, которая есть единственная любовь зверей. Итак, вот закон, который ты должен соблюдать: люби добродетель и пренебрегай славой, а между тем, как сказано о М. Катоне, чем менее ты будешь добиваться славы, тем больше приобретешь ее. Не могу удержаться, чтобы и в этом случае не указать тебе на твое собственное свидетельство:

Славу гони, от славы беги: она не отстанет.

Узнаешь ли ты этот стишок? Он твой. Конечно, безумным показался бы человек, который среди белого дня стал бы до изнурения бегать под палящим солнцем, чтобы увидеть свою тень и показать ее другим; но нисколько не разумнее тот, кто среди зноя жизни до изнеможения бегаёт всюду с целью распространить свою славу на далекое расстояние. Пусть первый идет к своей цели,— ведь его тень следует за ним; и пусть этот стоит на месте, участь добродетели,— слава не минет его усилий. Я разумею ту славу, которая сопутствует истинной добродетели; что же касается той, которую доставляют другие отличия тела или ума, каких людская суетность измыслила неисчислимое множество, то она даже не достойна имени славы. И потому ты, который, особенно в этом возрасте, так изнуряешь себя писанием книг,— позволь сказать тебе,—

ты глубоко заблуждаешься, ибо, забывая о собственных делах, ты всецело поглощен чужими, и таким образом, убаюкиваемый пустой надеждой на славу, не замечаешь, как проходит это краткое время жизни.

Ф р а н ц и с к

Что же мне делать? Должен ли я оставить мои работы неконченными? Или разумнее будет ускорить их и, ежели Господь дозволит, отделать их вполне? Избавившись от этих забот, я свободнее двинусь к высшей цели, потому что я не могу равнодушно кинуть среди дороги дела, столь важного и так дорого стоившего мне.

А в г у с т и н

Вижу, на какую ногу ты хромаешь. Ты предпочитаешь покинуть самого себя, нежели свои книжки. Тем не менее я исполню свой долг,— с каким успехом, это будет зависеть от тебя,— но, во всяком случае, исполню честно. Сбрось с себя тяжелые вьюки истории: подвиги римлян достаточно превознесены и их собственной славою, и дарованиями других писателей. Оставь Африку ее владельцам; ты не прибавишь славы ни своему Сципиону, ни себе; его невозможно возвысить больше, и ты окольной тропинкой карабкаешься вслед за ним. Итак, откажись от

всего этого, верни себе наконец самого себя, и (я возвращаюсь к тому, с чего мы начали) начни размышлять о смерти, к которой ты не приметно и не сознавая того приближаешься; разорви завесы, рассей тьму и впери взор в нее; к ней одной своди все, что представится взору или мысли твоей; меняются небо, земля и моря,— на что может надеяться брренное животное — человек? Без остановки, чередуясь, сменяются времена года, и ежели ты думаешь, что ты один можешь остаться неизменным — ты ошибаешься; ибо, как изящно говорит Флакк:

Скоро небесный ущерб восполнят луны; однажды
Мы угасаем навек.

Поэтому каждый раз, когда ты видишь смену весенних цветов летней жатвою, летнего зноя — осенней прохладю и сбора плодов — зимним снегом,— говори себе: «Все это проходит, но еще не раз вернется снова, я же уйду безвозвратно». Каждый раз, когда ты видишь, как тени гор вырастают при заходе солнца, говори себе: «Вот жизнь уходит, и тень смерти удлиняется; но это солнце завтра снова взойдет, для меня же этот день исчез безвозвратно». Кто может перечислить красоты ясной ночи? Она — удобнейшее время для тех, кто делает дурное, и вместе благодатнейшее для тех, кто совершает благое;

и вот, будь так же настороже, как начальник фригийского флота, ибо ты плывешь не по менее опасному морю, и так же, как он, вставай среди ночи, и

Все замечай светила, плывущие в небе безмолвном.

Видя, что они спешат к западу, знай, что тебя несет вместе с ними и что тебе не на кого надеяться, кто бы остановил твой заход, кроме Того, Кто сам недвижим и не знает заката. Точно так же, когда ты видишь, как те, кого ты еще недавно знал детьми, восходят по ступеням возрастов, то вспоминай, что в это же время ты спускаешься по другой тропинке, и тем быстрее, что по закону природы таково свойство всего тяжелого. Видя обветшалый дом, думай прежде всего о том, где те, чьи руки его строили; видя новый, вспоминай, где они будут вскоре. О том же думай при взгляде на дерево, с ветвей которого часто не собирает плодов тот, кто его посадил и холил, ибо на многих оправдался этот стих из «Георгик»:

Позднею поздних потомков обымет дерево тенью.

Любуясь быстрым течением реки (не стану приводить тебе чужих стихов), помни всегда твой собственный стишок:

Нет реки, быстротечней валы катящей, чем время
Дни нашей жизни несет.

Да не введут тебя в заблуждение многочисленность дней и искусственное деление на возрасты: вся жизнь человека, как бы она ни была продолжительна, подобна единому дню, и едва ли целому. Вспоминай часто одно уподобление Аристотеля, которое, как я заметил, тебе весьма нравится и которого ты никогда не мог прочитать или услышать без глубокого волнения; ты найдешь его в «Тускуланских беседах» Цицерона, где оно изложено более ясным слогом и более убедительно в следующих или совершенно подобных словах, так как у меня сейчас нет под рукою той книги. «У реки Гипаниса, которая со стороны Европы впадает в Понт, рождаются,— пишет Аристотель,— какие-то небольшие животные, которые живут один день. То из них, которое умирает при восходе солнца, умирает молодым, второе в полдень — взрослым, которое при заходе солнца, особенно в дни солнцестояния, то умирает старым. Сравни с вечностью всю продолжительность нашей жизни,— не окажется ли она почти столь же короткой?» Так излагает Цицерон, и это суждение, на мой взгляд, так верно, что из уст философов оно уже давно распространилось в толпе, ибо разве ты не заметил, что даже среди грубых и невежественных людей вошло в обычай говорить при виде ребенка: «для него солнце всходит», при виде взрослого — «он

достиг полдня», или «девятого часа», при виде дряхлого старика — «он достиг вечера», или «заката»? Вот эти мысли, милый сын, призывай себе на память, и другие подобные им, какие встретятся; их, без сомнения, много, я же привел лишь те, которые сразу сами представились мне. И еще об одном умоляю тебя: смотри внимательно на гробницы умерших, особенно тех, кто жил вместе с тобою, помни, что тебе уготовано то же местопребывание и то же вечное жилище. «Мы все идем туда, это наш последний дом» — и ты, который теперь, гордясь последними днями цветущего возраста, попираешь других своей стопою, ты скоро сам будешь попираем. Помни это, размышляй об этом денно и ночью, как подобает не только человеку рассудительному и помнящему о своей природе, но и философу, и знай, что именно так следует понимать изречение: «Вся жизнь философа — помышление о смерти». Эта мысль, говорю я, научит тебя презирать земное и укажет тебе иной путь жизни, по которому ты должен идти. Но ты спросишь, что это за путь и какими тропами можно выйти из него? Я отвечу тебе: ты не нуждаешься в долгих увещаниях, слушай лишь голос духа, неустанно зовущий и понукающий тебя словами: «Вот путь в отчизну». Ты знаешь, что он внушает тебе, какие прямые и кривые пути

он указывает тебе, чтобы ты по одним шел, других избегал. Ему повинуйся, если хочешь спастись и стать свободным. Не нужно долгих рассуждений; подобная опасность требует поступка. Враг грозит тебе с тыла и нападает спереди; стены, в которых ты осажден, сотрясаются, больше нельзя медлить. Какая польза тебе сладко петь для других, когда ты сам себя не слышишь? Я кончаю. Беги подводных камней, выберись на безопасное место, следуй влечению твоего духа: оно мерзко во всем другом, но прекрасно, когда зовет тебя к добродетели.

Ф р а н ц и с к

О, если бы ты сказал мне это вначале, прежде чем я предался этим занятиям!

А в г у с т и н

Я говорил тебе это часто; и на первых же порах, увидев, что ты взял в руку перо, я предостерег тебя, что жизнь коротка и туманна, что труд долгов и ясен, что предприятие велико, а плод будет мал; но тебе заложила уши людская молвь, которую ты, к моему изумлению, и ненавидел, и в то же время признавал своей руководительницей. Однако, — так как мы достаточно долго беседовали, — прошу тебя, если

ты узнал от меня что-нибудь приятное, не дай этому захиреть в забвении и пренебрежении; если же иное показалось тебе слишком жестким, не оскорбись.

Ф р а н ц и с к

Я же весьма благодарен тебе, как за многое другое, так и за эту трехдневную беседу, ибо ты очистил мои глаза, покрытые мраком, и рассеял густой туман окутывавшего меня заблуждения. Но как возблагодарю я ту, которая, не тяготясь нашей многоречивостью, осталась с нами до конца? Если бы она хоть раз отвратила от нас свой лик, мы в темноте заблудились бы, и либо в твоей речи не оказалось бы ничего основательного, либо мой разум ничего не воспринял бы. А ныне, так как ваше жилище — небо, я же все еще обитаю землю и не знаю, как долго суждено мне еще оставаться здесь, и так как эта неизвестность, как видишь, терзает меня, то умоляю вас, не покидайте меня, как ни велико расстояние, отделяющее меня от вас, ибо без тебя, досточтимый отец, моя жизнь была бы печальна, а без нее — пуста.

А в г у с т и н

Будь уверен, что твоя просьба будет исполнена; только бы ты сам не покинул себя, иначе ты по справедливости будешь покинут всеми.

Ф р а н ц и с к

Я постараюсь изо всех сил остаться при себе, соберу разбросанные обломки моей души и усиленно сосредоточусь в себе. Правда, теперь, пока мы говорим, меня ждут многие важные, хотя все еще земные дела.

А в г у с т и н

Толпе, быть может, что-нибудь и кажется более важным; но, конечно, нет ничего более полезного, и ни о чем нельзя размышлять плодотворнее, ибо остальные помышления могут оказаться излишними, эти же помыслы, как доказывает неизбежный конец, всегда необходимы.

Ф р а н ц и с к

Признаю это, и не по другой причине спешу теперь так усердно к прочим делам, как для того, чтобы, выполнив их, вернуться к этим. Я хорошо знаю, как ты только что сказал, что для меня было бы гораздо надежнее заниматься одним этим делом и, оставив в стороне кривые пути, избрать прямой путь спасения, но не могу обуздать своего желания.

А в г у с т и н

Мы возвращаемся к нашему старому спору: ты называешь свое желание невозможностью. Но

да будет так, раз не может быть иначе. Покорно молю Бога, чтобы он сопутствовал тебе и привел твои блуждающие стопы в безопасное место.

Ф р а н ц и с к

Да сбудется со мною то, о чем ты просишь; да пройду цел чрез столько распутий, ведомый Господом; да не воздымаю сам праха пред своими глазами, следуя голосу, зовущему меня; да смирятся бури моей души, да безмолвствует мир, и да не противится мне судьба.

*Кончается Беседа третья,
а с ней и книга «Моя тайна»*





СОНЕТЫ



Переводы с итальянского

*На жизнь
мадонны Лауры*

I

В собранье песен, верных юной страсти,
Щемящий отзвук вздохов не угас
С тех пор, как я ошибся в первый раз,
Не ведая своей грядущей части.

У тщетных грез и тщетных мук во власти,
Неровно песнь моя звучит подчас,
За что прошу не о прощенье вас,
Влюбленные, а только об участие.

Ведь то, что надо мной смеялся всяк,
Не значило, что судьи слишком строги:
Я вижу нынче сам, что был смешон.

И за былую жажду тщетных благ
Казню теперь себя, поняв в итоге,
Что радости мирские — краткий сон.



II

Я поступал ему наперекор,
И все до неких пор сходило гладко,
Но вновь Амур прицелился украдкой,
Чтоб отомстить сполна за свой позор.

Я снова чаял дать ему отпор,
Вложив в борьбу все силы без остатка,
Но стрелы разговаривают кратко,
Тем более что он стрелял в упор.

Я даже не успел загородиться,
В мгновенье ока взятый на прицел,
Когда ничто грозы не предвещало,

Иль на вершине разума укрыться
От злой беды, о чем потом жалел,
Но в сожаленьях поздних проку мало.





III

Был день, в который, по Творце вселенной
Скорбя, померкло Солнце... Луч огня
Из ваших глаз врасплох настиг меня:
О госпожа, я стал их узник пленный!

Гадал ли я, чтоб в оный день священный
Была потребна крепкая броня
От нежных стрел? что скорбь страстного дня
С тех пор в душе пребудет неизменной?

Был рад стрелок! Открыл чрез ясный взгляд
Я к сердцу дверь — беспечен, безоружен...
Ах! ныне слезы лью из этих врат.

Но честь ли богу — влить мне в жилы яд,
Когда, казалось, панцырь был ненужен? —
Вам — под фатой таить железо лат?





IV

Предивный, преискуснейший творитель
Планет — с их невесомостью и весом,
В юдоли нашей Зевса над Аресом
Поставивший, как мудрый устроитель,

Писанья толкователь — и учитель
Всех, что досель брели дремучим лесом,
Наперекор темницам и железам
Рабам отверзший горнюю обитель —

Не Риму, а смиренной Иудее
Доверил чудо своего рожденья,
Столь сладостным ему смиренье было...

И в наши дни он скромное селенье
Избрал, чтоб в нем, красую пламеня,
Возникла ты, прелестное светило.





VI

Настолько безрассуден мой порыв,
Порыв безумца, следовать упорно
За той, что впереди летит проворно,
В любовный плен, как я, не угодив,—

Что чем настойчивее мой призыв:
«Оставь ее!» — тем более тлетворна
Слепая страсть, поводьям не покорна,
Тем более желаний конь строптив.

И, вырвав у меня ремянный повод,
Он мчит меня, лишив последней воли,
Туда, где лавр над пропастью царит,

Отведать мне предоставляя повод
Незрелый плод, что прибавляет боли
Скорей, чем раны жгучие целит.





IX

Когда к Тельцу приходит вновь планета,
Что времени отмеривает ход,
Куда ни глянешь — все вокруг цветет,
Сияньем огненных рогов согрето.

И даже там, где не бывает света,
Где мгла царит ночная круглый год,
Все больше солнце знать себя дает,
И мой подарок подтверждает это.

Тепло дает созреть земным плодам,—
Так, если солнца моего земного
Глаза-лучи ко мне обращены,

Любой поступок мой, любое слово
Родятся в них, но я признаюсь вам,
Что никогда еще не знал весны.





Х

Колонна благородная, залог
Мечтаний наших, столп латинской чести,
Кого Юпитер силой грозной мести
С достойного пути столкнуть не смог,

Дворцов не знает этот уголок,
И нет театра в этом тихом месте,
Где радостно спускаться с Музой вместе
И подниматься на крутой отрог.

Все здесь над миром возвышает разум,
И соловей, что чуткий слух пленяет,
Встречая пеньем жалобным рассвет,

Любовной думой сердце наполняет;
Но здешние красоты меркнут разом,
Как вспомню, что тебя меж нами нет.





ХII

Коль жизнь моя настолько терпелива
Пребудет под напором тяжких бед,
Что я увижу вас на склоне лет:
Померкли очи, ясные на диво,

И золотого нет в кудрях отлива,
И нет венков, и ярких платьев нет,
И лик игрою красок не согрет,
Что вынуждал меня роптать пугливо,—

Тогда, быть может, страх былой гоня,
Я расскажу вам, как, лишен свободы,
Я изнывал все больше день от дня,

И если чувств не умерщвляют годы,
Пусть ваши вздохи поздние меня
Вознаградят за все мои невзгоды.





XIII

Когда в ее обличии проходит
Сама Любовь меж сверстниц молодых,
Растет мой жар,— чем ярче жен других
Она красой победной превосходит.

Мечта, тот миг благословляя, бродит
Близ мест, где цвел эдем очей моих.
Душе скажу: «Блаженство встреч таких
Достоиную ль, душа, тебя находит?»

Влюбленных дум полет предначертан
К Верховному, ея внушеньем, Благу.
Чувств низменных — тебе ль ласкать обман?

Она идти к пределу горних стран
Прямой стезей дала тебе отвагу:
Надейся ж, верь и пей живую влагу».





XV

Я шаг шагну — и оглянусь назад,
И ветерок из милого предела
Напутственный ловлю... И ношу тела
Влачу, усталый, дале — рад не рад.

Но вспомню вдруг, каких лишен отрад,
Как долог путь, как смертного удела
Размерен срок,— и вновь бреду несмело,
И вот — стою в слезах, потупя взгляд.

Порой сомненье мучит: эти члены
Как могут жить, с душой разлучены?
Она ж — все там! Ей дом — все те же стены!

Амур в ответ: «Коль души влюблены,
Им нет пространств; земные перемены
Что значат им? Они, как ветер, вольны».





XVI

Пустился в путь седой как лунь старик
Из отчих мест, где годы пролетели;
Родные удержать его хотели,
Но он не знал сомнений в этот миг.

К таким дорогам дальним не привык,
С трудом влачится он к заветной цели,
Превозмогая немощь в древнем теле:
Устать устал, но духом не поник,

И вот он созерцает образ в Риме
Того, пред кем предстать на небесах
Мечтает, обрета успокоенье.

Так я, не сравнивая вас с другими,
Насколько это можно — в их чертах
Найти стараюсь ваше отраженье.





XVII

Вздыхаю, словно шелестит листвою
Печальный ветер, слезы льются градом,
Когда смотрю на вас влюбленным взглядом,
Из-за которой в мире я чужой.

Улыбки вашей видя свет благой,
Я не тоскую по иным уладам,
И жизнь уже не кажется мне адом,
Когда люблюсь вашей красотой.

Но стынет кровь, как только вы уйдете,
Когда, покинут вашими лучами,
Улыбки роковой не вижу я.

И грудь открыв любовными ключами,
Душа освобождается от плоти,
Чтоб следовать за вами, жизнь моя.





XIX

Есть существа, которые летят
Навстречу солнцу, глаз не закрывая;
Другие — темноту предпочитая,
До сумерек в укромных гнездах спят;

И есть еще такие, что назад
Не повернут, в огонь себя бросая,—
Несчастных страсть погубит роковая;
Себя, несчастный, ставлю с ними в ряд!

Красою этой дамы ослепленный,
Я в тень не прячусь, лишь ее замечу,
Не жажду, чтоб скорее ночь пришла.

Слезится взгляд, однако ей навстречу
Я устремляюсь, как замороженный,
Чтобы в лучах ее сгореть дотла.





XX

О вашей красоте в стихах молчу
И уповать не смею на прощенье
И, полагаясь на воображение,
Упущенное наверстать хочу.

Но это мне, увы, не по плечу,
Тут не поможет все мое уменье,
И знает, что бессильно, вдохновенье,
И я его напрасно горячу.

Не раз преисполнялся я отваги,
Но звуки из груди не вырывались.
Кто я такой, чтоб взмыть в такую высь?

Не раз перо я подносил к бумаге,
Но и рука, и разум мой сдавались
На первом слове. И опять сдались.





XXXII

Чем ближе край, за коим — только бездна,
Которой все кончаются невзгоды,
Тем мне видней, сколь быстротечны годы,
Сколь уповать на время — бесполезно.

Я мыслям говорю: как ни прелестна
Любовь, но от нее, о сумасброды,
Плоть, словно снег от солнечной погоды,
Истает, сгинет, пропадет безвестно.

Тогда придет покой, уйдут надежды,
Что к суете влекли нас легковерно,
И страх, и гнев, и слезы, и улыбки.

И мы пойдем, недавние невежды,
Сколь многое вокруг — недостоверно,
Сколь тщетны вздохи, упования — зыбки...





XXXIV

Коль скоро, Аполлон, прекрасный пыл
Досель в тебе не знает оскуденья
И золотые кудри от забвенья
Поныне ты любовно сохранил,—

От стужи, от других враждебных сил,
Что твоего трепещут появленья,
Защитой будь священного растенья,
Где цепкий клей, как видишь, не застыл.

Любовной грезой вдохновясь, как в пору,
Когда тебе на редкость было худо,
Прогнав туман, яви погожий день,

И чудо нашему предстанет взору:
Она сидит на травке — наше чудо,
Сама сплетая над собою сень.





XXXV

Брожу в полях, задумчив, одинок,
Безлюдные просторы выбирая,
И, взгляда от земли не отрывая,
Страшусь увидеть отпечатки ног.

Не признаю исхоженных дорог,
Боясь, что пронизательность людская
Поймет, черты угасшие читая,
Какому сердце я огню обрек.

Все, что известно обо мне потокам,
Холмам и рощам, недоступно взглядам,
Однако я не знаю до сих пор

Такой глуши, где как бы ненароком
Амур со мной не оказался рядом
И не продолжил вечный разговор.





XXXIX

Меня страшит немилосердный взгляд,
Где, надо мною власть себе присвоив,
Живет Амур, — и, как шалун побоев,
Бегу очей, что смерть мою таят.

И нет вершин, и нет таких преград,
Какие воля не возьмет, усвоив,
Что незачем изображать героев,
Когда свести в могилу нас хотят.

Из страха вновь себя подвергнуть казни
Я отложить пытался нашу встречу
И, несомненно, заслужил упрек.

Но в оправдание свое замечу,
Что если я не уступил боязни,
То это — верности моей залог.





XLI

Когда из роши Дафна прочь уйдет —
Горнило вспыхнет в кузнице Вулкана:
За тяжкий труд кузнец берется рьяно
И стрелы для Юпитера кует.

Бушует снег, и намерзает лед,
Померк июль под натиском бурана, —
Спустился Феб за пелену тумана
И вдалеке свою подругу ждет.

Злокозненные звезды Ориона
В открытом море губят корабли.
Сатурн и Марс ярятся распаленно.

Трубит Эол во всех концах земли,
Нептун встревожен, мечется Юнона —
Когда Она скрывается вдали.





XLII

Но стоит улыбнуться ей, нежданно
Явив пред нами тысячи красот,—
В глубинах Монджибелло труд замрет
Хромого Сицилийца-великана.

Юпитер стрелы кузнеца Вулкана
В колчан миролюбиво уберет;
Восходит Феб на ясный небосвод,
И с ним Юнона вновь благоуханна.

Цветы и травы землю облекли,
Зефир к востоку реет неуклонно,
И кормчим покоряются рули,—

Уходят злые звезды с небосклона,
Узнав Ее прекрасный лик вдали —
Той, по которой слезы лью бессонно.





XLIV

Кто, проявив неумолимый нрав,
Не пощадил сограждан при Фарсале,
Всплакнул над мужем дочкиным в опале,
Помпея в мертвой голове узнав;

И тот, кто был сильней, чем Голиаф,
Над мертвым сыном волю дал печали,
Когда сполна бунтовщику воздали,
И над Саулом плакал, в горе впав.

А вы, которой чуждо состраданье,
Вы с вашей осторожностью предельной,
Когда Амур за вами лук ведет,

Виновница беды моей смертельной,
В глазах несете лишь негодование,
И ни слезы из них не упадет.





XLV

Мой постоянный недоброжелатель,
В ком тайно вы любуетесь собой,
Пленяет вас небесной красотой,
В которой смертным отказал создатель.

Он вам внушил, мой злобный неприятель,
Лишить меня обители благой,
И сени, что достойна вас одной,
Увы! я был недолго обитатель.

Но если прочно я держался там,
Тогда любовь к себе самой внушать
Вам зеркало едва ль имело право.

Удел Нарцисса уготовлен вам,
Хоть нет на свете трав, достойных стать
Цветку неповторимому оправой.





XLVIII

Огню огонь предела не положит,
Не сякнут от дождя глубины вод,
Но сходным сходное всегда живет,
И чуждое иные вещи множит.

А ты, Амур,— иль я не прав, быть может? —
Вещей привычный нарушаешь ход,
И чем сильней к любимым нас влечет,
Тем большее бессилье душу гложет.

Как жителей окрестных деревень
Струей в верховьях оглушает Нил,
Как солнца не выдерживают взоры,

Так и с душою несогласный пыл,
Должно быть, убывает что ни день:
Горячему коню — помехой шпоры.





XLIX

По мере сил тебя предостеречь
Старался я от лжи высокопарной,
Я славу дал тебе, неблагодарный,
И сам теперь готов тебя отсесть.

Когда мне нужно из тебя извлечь
Мольбу к любимой, ты молчишь, коварный,
А если не молчишь, язык бездарный,
То, как во сне, твоя бессвязна речь.

И вы, мои мучители ночные,
Ну где ж вы, слезы? Нет чтобы излиться
Перед любимой, жалость пробудив.

И с вами, вздохи, не хочу мириться,
Затем что вы пред нею — как немые.
Лишь облик мой всегда красноречив.





LVII

Мгновенья счастья на подъем ленивы,
Когда зовет их алчный зов тоски;
Но, чтоб уйти, мелькнув,— как тигр, легки.
Я сны ловить устал. Надежды лживы.

Скорей снега согреются, разливы
Морей иссохнут, невод рыбаки
В горах закинут, там, где две реки,
Евфрат и Тигр, влачат свои извивы

Из одного истока, Феб зайдет,—
Чем я покой найду иль от врагини,
С которой ковы на меня кует

Амур, мой бог, дождуся благостыни.
И мед скупой — устам, огонь полыни
Изведавшим,— не сладок, поздний мед!





LXI

Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край, и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!

Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце бог, тайком разящий нас!

Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!

Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны,—
Дум золотых о ней, единой, сплав!





LXII

Бессмысленно теряя дни за днями,
Ночами бредя той, кого люблю,
Из-за которой столько я терплю,
Заворожен прекрасными чертами,

Господь, молю — достойными делами,
Позволь, свое паденье искуплю
И дьявола немало посрамлю
С его вотще сплетенными сетями.

Одиннадцатый на исходе год,
С тех пор как я томлюсь под гнетом злым,
Отмеченный злосчастия печатью.

Помилуй недостойного щедрот,
Напомни думам сбивчивым моим,
Как в этот день ты предан был распятью.





LXV

Несчастный! я предположить не мог
В тот день, что пробил час моей неволи,
Что должен буду покориться воле
Амура,— и защитой пренебрег.

Не верил я, от истины далек,
Что сердце стойкость даже в малой доле
Утратит с первым ощущеньем боли.
Удел самонадеянных жесток!

Одно — молить Амура остается:
А вдруг, хоть каплю жалости храня,
Он благосклонно к просьбе отнесется.

Нет, не о том, чтоб в сердце у меня
Умерить пламя, но пускай придется
Равно и ей на долю часть огня.





LXVIII

Священный город ваш, любезный богу,
Меня терзает за проступок мой,
«Одумайся!» — крича, и мне прямой
Путь указывает к светлому чертогу.

Другая дума тут же бьет тревогу
И говорит: «Куда бежишь? Пстой.
Давно не видясь с нашей госпожой,
Ты что — нарочно к ней забыл дорогу?»

Речами душу леденит она,
Как человеку — смысл недоброй вести,
Когда внезапно весть принесена.

И снова первая уже на месте
Второй. Когда же кончится война?
Кто победит из них на поле чести?





LXXIV

Я изнемог от безответных дум —
Про то, как мысль от дум не изнеможет
О вас одной; как сердце биться может
Для вас одной; коль день мой столь угрюм

И жребий пуст — как жив я; как мой ум
Пленительной привычки не отложит
Мечтать о вас, а лира зовы множит,
Что брег морской — прибоя праздный шум.

И как мои не утомились ноги
Разыскивать следы любимых ног,
За грезю скитаясь без дороги?

И как для вас я столько рифм сберег? —
Которые затем порой не строги,
Что был Амур к поэту слишком строг.





LXXV

Язвительны прекрасных глаз лучи,
Пронзенному нет помощи целебной
Ни за морем, ни в силе трав волшебной.
Болящему от них — они ж врачи.

Кто скажет мне: «Довольно, замолчи!
Все об одной поет твой гимн хвалебный!» —
Пусть не меня винит, — их зной враждебный,
Что иссушил другой любви ключи.

Творите вы, глаза, непобедимым
Оружие, что точит мой тиран,
И стонут все под игом нестерпимым.

Уж в пепл истлел пожар сердечных ран;
Что ж день и ночь лучом неотвратимым
Вы жжете грудь? И петь вас — я ж избран.





LXXIX

Когда любви четырнадцатый год
В конце таким же, как в начале, будет,
Не облегчит никто моих невзгод,
Ничто горячей страсти не остудит.

Амур вздохнуть свободно не дает
И мысли к одному предмету нудит.
Я изнемог: мой бедный взгляд влечет
Все время та, что скорбь во мне лишь будит.

Я потому и таю с каждым днем,
Чего не видит посторонний взор,
Но не ее, что шлет за мукой муку.

Я дотянул с трудом до этих пор;
Когда конец — не ведаю о том,
Но с жизнью чую близкую разлуку.





LXXXII

Моей любви усталость не грозила
И не грозит, а вот на мне самом
Все больше сказывалась с каждым днем —
Устанешь, если все тебе немило.

Но не хочу, чтоб ваше имя было
На мраморном надгробии моем
Начертано свидетельство о том,
Что плоть мою с душою разлучило.

И если торжества исполнить вас
Любовь, не знающая пытки, может,
О милости прошу в который раз.

А если вдруг алчба иная гложет
Надменность вашу, что же — в добрый час:
Освободиться мне Амур поможет.





LXXXV

Любил, люблю, не в силах разлюбить
Благой приют, куда я временами
Спешу вернуться, исходя слезами,
Когда Амур готов меня убить.

И день и час люблю — как их забыть! —
Когда простился с низкими страстями,
Но больше — ту, что мне предстала в храме,
В глазах которой лучше хочешь быть.

Ну разве мог предположить я прежде,
Чтоб к сердцу сразу столько подступило
Врагов моих, которых так люблю?

Амур, какая за тобою сила!
И если бы конец пришел надежде
И мне — конец, а так я все стерплю.





LXXXVII

Отправив только что стрелу в полет,
Стрелок искусный предсказать берется,
Придется в цель она иль не придется,
Насколько точен был его расчет.

Так вы, мадонна, знали наперед,
Что ваших глаз стрела в меня вопьется,
Что вечно мне, всю жизнь страдать придется
И что слезами сердце изойдет.

Уверен, вы меня не пожалели,
Небось сказали: — Получай сполна!
Нет для стрелы Амура лучшей цели.

И с глаз моих упала пелена:
Нет, вы не гибели моей хотели —
Живая жертва недругу нужна.





ХС

Зефир ее рассыпанные пряди
Закручивал в колечки золотые,
И свет любви, зажегшейся впервые,
Блистал в ее, нещедром ныне, взгляде.

Тогда казалось, что не о прохладе
Вещают краски нежные, живые,
Ее лица; и вспыхнули стихии
Моей души, пожаром в вертограде.

Она предстала мне виденьем рая,
Явлением небесным — в плоть до звука
Ее речей, где каждый слог — Осанна.

И пусть теперь она совсем иная —
Мне все равно; не заживает рана,
Хоть и ослабла тетива у лука.





ХСII

Рыдайте, дамы. Пусть Амур заплачет.
Влюбленные, последний пробил час
Того, кто на земле прославил вас,
Кто сам любил и знал, что это значит.

Пусть боль моя стыдливо слез не прячет,
Пускай сухими не оставит глаз:
Умолк певца любви волшебный глас,
И новый стих уже не будет начат.

Настройтесь, песни, на печальный лад,
Оплакивая смерть мессера Чино.
Пистойцы, плачьте все до одного!

Рыдай, Пистойя, вероломный град,
Что сладкогласного лишился сына!
Ликуйте, небеса, приняв его!





ХСVI

Я так устал без усталы вздыхать,
Измученный тщетою ожиданья,
Что ненавидеть начал упованья
И о былой свободе помышлять.

Но образ милый не пускает вспять
И требует, как прежде, послушанья,
И мне покоя не дают страданья —
Впервые мной испытанным под стать.

Когда возникла на пути преграда,
Мне собственных не слушаться бы глаз:
Опасно быть душе рабою взгляда.

Чужая воля ей теперь указ.
Свобода в прошлом. Так душе и надо,
Хотя она ошиблась только раз.





ХСVII

О высший дар, бесценная свобода,
Я потерял тебя и лишь тогда,
Прозрев, увидел, что любовь — беда,
Что мне страдать все больше год от года.

Для взгляда после твоего ухода
Ничто рассудка трезвого узда:
Глазам земная красота чужда,
Как чуждо все, что создала природа.

И слушать о других и речь вести —
Не может быть невыносимей муки,
Одно лишь имя у меня в чести.

К любой другой заказаны пути
Для ног моих, и не могли бы руки
В стихах другую так превознести.





С

И то окно, где может с двойником
Своим сойтись в полдневный час светило,
И то, где в дни короткие уныло
Свистит борей, грозя ворваться в дом,

И камень, на котором летним днем
Мадонна не однажды говорила
Сама с собой, и место, где сразила
Любовь меня, и все места кругом,

И ежегодные с весною встречи,
Что раны снова берedit и снова
В тот день, который муку мне принес,

И образ дорогой, и слово в слово
Отпечатленные душою речи,—
Меня доводят каждый раз до слез.





СII

Когда поднес, решившись на измену,
Главу Помпея Риму Птолемей,
Притворно Цезарь слезы лил над ней,—
Так описал историк эту сцену.

И Ганнибал, когда он понял цену
Чужих побед, обманывал людей
Наигранной веселостью своей,
И смех его был страшен Карфагену.

Так чувства каждый человек таит,
Прибегнув к противоположной маске,
Приняв беспечный или грустный вид.

Когда играют радужные краски
В моих стихах, то это говорит
О том, что чувства не хотят огласки.





СШ

Успеха Ганнибал, победе рад,
Не смог развить, на лаврах почивая,—
Так пусть его ошибка роковая
Научит вас не опускать булат.

Медведица, лишившись медвежат
При памятной пастьбе под небом мая,
Рычит, клыки и когти обнажая,
Что мезтью нам кровавою грозят.

Она не успокоится, поверьте,
Не погребет себя в своей берлоге.
Спешите же туда, куда зовет

Вас воинское счастье — по дороге,
Что на тысячелетья после смерти
Вам по заслугам славу принесет.





CVIII

Благое место, где в один из дней
Любовь моя стопы остановила
И взор ко мне священный обратила,
Что воздуха прозрачного светлей

(Алмаз уступит времени скорей,
Чем позабуду я, как это было:
Поступок милый никакая сила
Стереть не сможет в памяти моей),

К тебе вернуться больше не сумею
Я без того, чтоб не склониться низко,
Ища следы — стопы прекрасной путь.

Когда Амуру благородство близко,
Сеннуччо, попроси при встрече с нею
Хоть раз вздохнуть или слезу смахнуть.





СХ

Опять я шел, куда мой бог-гонитель
Толкал,— куда приводит каждый день,—
Дух в сталь замкнув, с оглядкой,— как
воитель,
Засаду ждущий, скрытых стрел мишень.

Я озираю знакомую обитель.
Вдруг на земле нарисовалась тень
Ее, чей дух — земли случайный житель,
Чья родина — блаженных в небе сень.

«К чему твой страх?» — едва сказал
в душе я,
Как луч двух солнц, под коим, пламенея,
Я в пепел истлел, сверкнул из милых глаз.

Как молнией и громовым ударом,
Был ослеплен и оглушен зараз
Тем светом я — и слов приветных даром.





СХІ

Та, чьей улыбкой жизнь моя светла,
Предстала мне, сидящему в соборе
Влюбленных дум, с самим собой в раздоре,
И по склоненью бледного чела —

Приветствию смиренному — прочла
Всю смуту чувств, и обняла все горе
Таким участием, что при этом взоре
Потухли 6 стрелы Зевсова орла.

Я трепетал; не мог идущей мимо
Я благосклонных выслушать речей
И глаз поднять не смел. Но все палима

Душа той новой нежностью очей!
И болью давней сердце не томимо,
И неги новой в нем поет ручей.





СХII

Сеннуччо, хочешь, я тебе открою,
Как я живу? Узнай же, старина:
Страдаю, как в былые времена,
И остаюсь во всем самым собою.

И та, кому я предан всей душою,
Как прежде — то надменна, то скромна,
То снисходительна, то холодна,
То благодушна, то гроза грозою.

Здесь пела, здесь сидела, здесь прошла,
Здесь обернулась, здесь, как стрелы, очи
Вонзила в сердце, взяв навеки в плен,

Здесь грустной, здесь веселою была...
О милой помышляю дни и ночи.
Как видишь, у меня без перемен.





CXIV

Покинув нечестивый Вавилон,
Рассадник зла, приют недоброй славы,
Где процветают мерзостные нравы,
Где я до срока был бы обречен,

Я здесь живу, природой окружен,
И, на Амура не найдя управы,
Слагаю песни, рву цветы и травы,
Ищу поддержки у былых времен.

Ни до Фортуны, ни до черни дела,
Ни до себя мне в этом нет краю,—
Любимую бы мне сюда и друга!

Вот только бы любимая сумела
Безжалостность перебороть свою,
А друг — освободиться от недуга.





СХХ

Узнав из ваших полных скорби строк
О том, как чтили вы меня, беднягу,
Я положил перед собой бумагу,
Спеша заверить вас, что, если б мог,

Давно бы умер я, но дайте срок —
И я безропотно в могилу лягу,
При том что к смерти отношусь, как к благу,
И видел в двух шагах ее чертог,

Но повернул обратно, озадачен
Тем, что при входе не сумел прочесть,
Какой же день, какой мне час назначен.

Премного вам признателен за честь,
Но выбор ваш, поверьте, неудачен:
Достойнее гораздо люди есть.





СХХІІІ

Внезапную ту бледность, что за миг
Цветущие ланиты в снег одела,
Я уловил, и грудь похолодела,
И встречающая покрыла бледность лик.

Иных любовь не требует улик.
Так жителям блаженного предела
Не нужно слов. Мир слеп; но без раздела
Я в духе с ней — и в мысль ее проник.

Вид ангела в очарованье томном —
Знак женственный любовного огня —
Напомню ли сравнением нескромным?

Молчанием сказала, взор склоня
(Иль то мечта?), — намеком сердца темным:
«Мой верный друг покинет ли меня?»





СXXXII

Коль не любовь сей жар, какой недуг
Меня знобит? Коль он — любовь, то что же
Любовь? Добро ль?.. Но эти муки, Боже!..
Так злой огонь?.. А сладость этих мук!..

На что ропщу, коль сам вступил в сей круг?
Коль им пленен, напрасны стоны. То же,
Что в жизни смерть, — любовь. На боль похоже
Блаженство. «Страсть», «страданье» — тот же
звук.

Призвал ли я иль принял поневоле
Чужую власть?.. Блуждает разум мой.
Я — утлый челн в стихийном произволе,

И кормщика над праздною нет кормой.
Чего хочу — с самим собой в расколе, —
Не знаю. В зной — дрожу; горю — зимой.





СХХХIV

Мне мира нет,— и брани не подьемлю.
Восторг и страх в груди, пожар и лед.
Заоблачный стремлю в мечтах полет —
И падаю, низверженный, на землю.

Сжимая мир в объятых,— сон объемлю.
Мне бог любви коварный плен кует:
Ни узник я, ни вольный. Жду — убьет;
Но медлит он,— и вновь надежде внемлю.

Я зряч — без глаз; без языка — кричу.
Зову конец — и вновь молю: «Пощада!»
Клянусь себя — и все же дни влачу.

Мой плач — мой смех. Ни жизни мне не надо,
Ни гибели. Я мук своих — хочу...
И вот за пыл сердечный мой награда!





СХХХVI

Что ж, в том же духе продолжай, покуда
Всевышний не спалил тебя дотла
За все твои постыдные дела,
Грабитель обездоленного люда!

Чревоугодник, раб вина и блуда,
Ты мир опутал щупальцами зла,
Здесь Похоть пышное гнездо свила,
И многое еще пошло отсюда.

В твоих покоях дьявол, обнаглев,
Гуляет, зеркалами повторенный,
В объятья стариков бросая дев.

Богач никчемный, в бедности вскормленный,
Дождешься — на тебя обрушит гнев
Господь, услышав запах твой зловонный.





СХХХVII

Разгневал бога алчный Вавилон,
Забывший, что такое чувство меры,
Притон, где культом Вакха и Венеры
Культе Зевса и Паллады заменен.

Я верю в правый суд — свершится он:
Другой султан придет и примет меры
К тому, чтобы единым центром веры
Был навсегда Багдад провозглашен.

Гнев идолов поверженных не страшен.
Не только башни будут сожжены,
Но и жильцы надменных этих башен.

Бразды правленья будут вручены
Достойнейшим, и снова мир украшен
Деяньями великой старины.





СХХХVIII

Источник скорби, бешенства обитель,
Храм ереси, в недавнем прошлом — Рим,
Ты Вавилоном сделался вторым,
Где обречен слезам несчастный житель.

Тюрьма, горнило лжи, добра губитель,
Кромешный ад, где изнывать живым.
Неужто преступлениям твоим
Предела не положит вседержитель?

Рожденный не для этих святотатств,
Ты оскорбляешь свой высокий чин,
Уподобляясь грязной потаскухе.

Во что ты веришь? В торжество богатств?
В прелюбодейства? Вряд ли Константин
Вернется. Не в аду радеть о духе!





СХLIII

Любви очарование исходит
От ваших слов, и я, внимая вам,
Не только вновь пылаю страстью сам,
Но верю — с милой то же происходит.

И снова память к ней пути находит,
И не нарушить грез колоколам:
Лишь еле слышный вздох по временам
Из состоянья сна меня выводит.

Лучится добротой прекрасный лик,
И ветерок играет волосами,
Когда она навстречу мне спешит.

Но от восторга онемел язык,
И я бессвязно шевелю губами,
Своим молчаньем перед ней убит.





CXLV

В краю снегов, и там, где вечный зной,
И там, где солнце сонное садится,
И там, где огненная колесница
Путь над землею начинает свой;

И в дождь, и в вёдро, летом и зимой,
Ночь на дворе или зажглась денница,
Исписана или бела страница,
Доволен я иль нет своей судьбой;

На суше ли, в бездонной ли пучине,
И в мире, и на небо вознесясь,
В горах или в болотистой низине;

Прославлен буду или втопан в грязь,—
Останусь тем, каким я был поныне,
С тех пор как в грудь мою стрела впилась.





CXLVI

О деятельным славная добром
Душа, которую пою недаром!
О крепость, недоступная ударам,—
Вершина чести над мирским грехом!

О пыл, о розы на снегу живом,
Что, согревая, очищает жаром!
О счастье быть подвластным этим чарам,
Которым равных в царстве нет земном!

Будь я понятен с песнями моими
В такой дали, о вас бы Фула знала,
Олимп, Танаис, Бактра, Нил, Атлас.

Но так как одного желанья мало,
Услышит край прекрасный ваше имя:
От Альп до моря я прославлю вас.





CLIV

Сонм светлых звезд и всякое начало
Вселенского состава, соревнуя
В художестве и в силе торжествуя,
Творили в ней Души своей зеркало.

И новое нам солнце возблистало,
И каждый взор потупился, предчуя,
Что бог любви явил ее, ликуя,
Чтоб изощрить на дерзком злое жало.

Пронизанный очей ее лучами,
Течет эфир пылающей купиной,
И может в нем дышать лишь добродетель.

Но низкое желание мечами
Эдемскими гонимо. Мир свидетель,
Что красота и чистота — едино.





CLVI

Я лицезрел небесную печаль,
Грусть: ангела в единственном явленье.
То сон ли был? Но ангела мне жаль.
Иль облак чар? Но сладко умиление.

Затмили слезы двух светил хрусталь,
Светлейший солнца. Кротких уст моление,
Что вал сковать могло б и сдвинуть даль,—
Изнемогло, истаяло в томление.

Все — добродетель, мудрость, нежность,
боль —

В единую гармонию сомкнулось,
Какой земля не слышала дотоль.

И ближе небо, внемля ей, нагнулось;
И воздух был разнежен ею столь,
Что ни листка в ветвях не шелохнулось.





CLVII

Тот жгучий день, в душе отпечатленный,
Сном явственным он сердцу предстоит.
Чье мастерство его изобразит?
Но мысль лелеет образ незабвенный.

Невинностью и прелестью смиренной
Пленителен красы унылой вид.
Богиня ль то, как смертная, скорбит?
Иль светит в скорби свет богоявленный?

Власы — как золото; брови — как эбен;
Чело — как снег. В звездах очей угрозы
Стрелка, чьим жалом тронутый — блажен.

Уст нежных жемчуг и живые розы —
Умильных, горьких жалоб сладкий плен...
Как пламя — вздохи; как алмазы — слезы.





CLVIII

Куда ни брошу безутешный взгляд,
Передо мной художник вездесущий,
Прекрасной дамы образ создающий,
Дабы любовь моя не шла на спад.

Ее черты как будто говорят
О скорби, сердце чистое гнетущей,
И вздох, из глубины души идущий,
И речь живая явственно звучат.

Амур и правда, бывшие со мною,
Сказали мне — и это не секрет,—
Что всех она прекрасней под луною,

Что голоса нежнее в мире нет,
Что чище слез, заставших пленною
Столь дивный взор, еще не видел свет.





CLIX

Ее творя, какой прообраз вечный
Природа-Мать взяла за образец
В раю Идей? — чтоб знал земли жилец
Премудрой власть и за стезею Млечной.

Ее волосы — не Нимфы ль быстротечной
Сеть струйная из золотых колец?
Чистейшее в ней бьется из сердец —
И гибну я от той красы сердечной.

В очах богинь игру святых лучей
Постигнет ли мечтательной догадкой
Не видевший живых ее очей?

Целит любовь иль ранит нас украдкой,
Изведал тот, кто сладкий, как ручей,
Знал смех ее, и вздох, и говор сладкий.





CLXVI

Когда бы я остался в том краю,
Где вещей дар открылся Аполлону,
Я, может, ныне, как Катулл — Верону,
Прославил бы Флоренцию мою.

Но с неких пор волшебную струю
Бесплодному скала не дарит лону,
И я, иному следуя закону,
Над сорною травой с серпом стою.

Суша олива: днесь к другой долине
Кастальская вода устремлена,
И не спасает корни глубина.

Виною время иль моя вина —
Плодов достойных нет в моей пустыне,
Не знающей господней благостыни.





CLXVII

Когда она, глаза полузакрыв,
В единый вздох соединит дыханье
И запоет, небесное звучанье
Придав словам, божественный мотив,

Я слушаю — и новых чувств прилив
Во мне рождает умереть желанье,
И я реку себе: «Когда прощанье
Столь сладко с жизнью, почему я жив?»

Но полные блаженства неземного
Боятся чувства время торопить,
Чтоб не лишиться сладостного плена.

Так дни мои укоротит — и снова
Отмеренную удлиняет нить
Небесная среди людей сирена.





CLXXII

О Зависть, о коварное начало,
Как ты вошла, какой нашла ты путь
В прекрасную доверчивую грудь?
Как ловко ты в нее вонзила жало!

Ты чересчур счастливым показала
Меня любимой, и тебя не будь,
Расположенье мог бы я вернуть
Той, что вчера мольбы не отвергала.

Пусть плачущего ей отраден вид,
Пускай она, когда я счастлив, плачет,
Она любви моей не охладит.

Пускай она намеренья не прячет
Убить меня, Амур мне говорит,
Что это ничего еще не значит.





CLXXVI

Глухой тропой, дубравой непробудной,
Опасною и путникам в броне,
Иду, пою, беспечный, как во сне,—
О ней, чей взор, один, как проблеск чудный

Двух солнц,— страшит желанье. Безрассудный
Блуждает ум — и нет разлуки мне:
Я с ней! Вот сонм ее подруг: оне —
За ясеней завесой изумрудной.

Чей голос — чу! — звучит, слиян с листвою
Лепечущей, сквозь шум вершин зыбучий,
И птичий хор, и говор ключевой?..

Милей дотоль мне не был лес дремучий,—
Когда б лишь солнц моих игры живой
Не застилал от глаз зеленой тучей!





CLXXXVII

Над прахом достославного Ахилла,
Завидуя чужому торжеству,
Промолвил Александр, склонив главу:
«Тебя такая лира восхвалила!..»

Хочу воспеть любви моей светило
(Не видел равных, сколько ни живу),
Но трудно научиться мастерству,
Когда судьба талантом обделила.

Мадонну петь достоин был Орфей,
И мог ее Гомер воспеть по праву
И гордость Мантуи певец-пастух.

Однако жребий дал поэта ей,
Что принести любимой жаждет славу,
Но, кажется, его подводит слух.





СХС

Лань белая на зелени лугов,
В час утренний, порою года новой,
Промеж двух рек, под сению лавровой,
Несла, гордясь, убор златых рогов.

Я все забыл и не стремить шагов
Не мог (скупец, на все труды готовый,
Чтоб клад добыть!) — за ней, пышноголовой
Скиталицей волшебных берегов.

Сверкала вязь алмазных слов на вые:
«Я Кесарем в луга заповедные
Отпущена. Не тронь меня! Не рань!..»

Полдневная встречала Феба грань;
Но не был сыт мой взор, когда в речные
Затоны я упал — и скрылась лань.





СХСV

Года идут. Я все бледнее цветом,
Все больше похожу на старика,
Но так же к листьям тянется рука,
Что и зимою зелены, и летом.

Скорее в небе не гореть планетам,
Чем станет мне сердечная тоска
Не столь невыносима и сладка,
Не столь желанна и страшна при этом.

Не кончится мучений полоса,
Пока мой прах могила не изложет
Иль недруг мой ко мне не снизойдет.

Скорей во все поверю чудеса,
Чем кто-то, кроме смерти, мне поможет
Или виновницы моих невзгод.





СХСІХ

Прекрасная рука! Разжалась ты
И держишь сердце на ладони тесной.
Я на тебя гляжу, дивясь небесной
Художнице столь строгой красоты.

Продолговато-нежные персты,
Прозрачней перлов Индии чудесной,
Вершители моей судьбины крестной,
Я вижу вас в сиянье наготы.

Я завладел ревнивою перчаткой!
Кто, победитель, лучший взял трофей?
Хвала, Амур! А ныне ты ж украдкой

Фату похитить иль облаком развей!..
Вотще! Настал конец услады краткой:
Вернуть добычу должен лиходей.





ССП

Сверкает лед, и от живого льда
Исходит пламя, все во мне сжигая,
И близится минута роковая,
И от судьбы не скряться никуда.

И Смерть добычей близкою горда,—
Так лев рычит, добычу настигая,
И жизнь моя слабеет, убегая,
И страшно, страшно мне, как никогда.

Любовь могла бы с милосердьем вместе
Двойную снова возвести твердыню,
Чтоб душу от удара охранить,

Хоть в то не верю я, сказать по чести,
Мою отраду зная и врагиню,
Но склонен лишь судьбу во всем винить.





ССV

О, сладость гнева, сладость примирений,
Услада муки, сладкая досада
И сладость слов из пламени и хлада,
Столь сладостно внимаемых суждений!..

Терпи, душа, тишайшим из терпений —
Ведь горечь сладости смирать нам надо
Тем, что дана нам гордая отрада
Любить ее — венец моих стремлений...

Быть может, некто, некогда, вздыхая,
Ревниво молвит: «Тот страдал недаром,
Кого такая страсть поймала в сети!»

Другой воскликнет: «О, судьба лихая!
Зачем родился я не в веке старом?
Не в те года? Или она — не в эти?»





ССІХ

Остался я до гробовой доски
В краю, с которым сам решил проститься:
Передо мной его река струится
И громоздятся горы вдоль реки.

Топчусь на прежнем месте, вопреки
Тому, что я в дороге. Где граница
Меж тем, что есть, и тем, что только мнится?
Нет, не разжать любовные тиски.

Как раненая лань летит стрелою,
Неся в боку отравленный металл,
От боли ног не чуя под собою,—

И я бы так же от любви бежал
С торчащей из моей груди стрелою,
Но далеко не убежать. Устал.





ССХІ

Ведет меня Амур, стремится Желанье,
Зовет Привычка, погоняет Младость,
И, сердцу обещая мир и сладость,
Протягивает руку Упованье.

И я ее беру, хотя заране
Был должен знать, что послан не на радость
Вожатый мне; ведь слепота не в тягость
Тому, кто Разум отдал на закланье.

Прелестный Лавр, цветущий серебристо,
Чьи совершенства мною завладели,
Ты — лабиринт, влекущий неотвратно.

В него вошел в году тысяча триста
Двадцать седьмом, шестого дня апреля,
И не увижу выхода обратно.





ССХVI

Я плачу днем; и после, с темнотою,
Что суете мирской кладет предел,—
Опять в слезах, скорбя, как днем скорбел:
Мой век все с той же связан чередою.

Я сердце болью извожу тупою,
Глаза — слезами; горше мой удел,
Чем у последней твари: тучи стрел
Любовных преграждают путь к покою.

Я от денницы шел и до другой,
От мглы до мглы. Увы, еще немного —
И смерть, что жизнью мы зовем, прошла.

И если больно мне, тому виной
Живая милость и моя подмога,
Что позволяет мне сгореть дотла.





ССХVIII

Какою бы красою ни блистали
Перед ее лицом другие лица —
Все меркнут, словно от луча денницы
Меньшие звезды в неоглядной дали.

Амур мне шепчет: «Можно без печали
Нам жить, доколе век ее продлится,
Уйдет она — и станет жизнь темницей,
И сам не устою на пьедестале».

Все будет так, как если бы природа
Людей лишила разума и слова,
Лишила влаги и моря и реки,

Луга, леса — зеленого покрова,
Светила отняла у небосвода —
Едва лишь Смерть ее прикроет веки.





ССХХ

Земная ль жила золото дала
На эти две косы? С какого берега
Принес Амур слепительного снега —
И теплой плотью снежность ожила?

Где розы взял ланит? Где удила
Размерного речей сладчайших бега —
Уст жемчуг ровный? С неба ль мир и нега
Безоблачно-прекрасного чела?

Любови бог! кто, ангел сладкогласный,
Свой чрез тебя послал ей голос в дар?
Не дышит грудь, и день затмится ясный,

Когда поет царица звонких чар...
Какое солнце взор зажгло опасный,
Мне льющий в сердце льдистый хлад и жар?





ССХХІІІ

Когда златую колесницу в море
Купает Солнце,— с меркнувшим эфиром
Мрачится дух тоской. В томленьи сиром
Жду первых звезд. Луна встает — и вскорее

Настанет ночь. Невнемлющей все горе
Перескажу. С собой самим и с миром,
Со злой судьбой моей, с моим кумиром
Часы растрочу в долгом разговоре.

Дремы не подманить мне к изголовью;
Без отдыха до утра сердце стонет
И, слез ключи раскрыв, душа тоскует.

Редает мгла, и тень Аврора гонит.
Во мне — все мрак!.. Лишь солнце вновь
любовью
Мне грудь зажжет и муки уврачует.





ССХХVI

Единственный на крыше воробей
Не сиротлив, как я: одна отрада —
Прекрасные черты — была для взгляда,
Других не признающего лучей.

Все время плачу — счастья нет полней,
Мне смех — мученье, яства — горше яда,
Денница в небе — тусклая лампада,
На смятом ложе не сомкнуть очей.

Недаром люди говорят, что Лете
Сродни теченье сна, ведь он, предатель,
Несет сердцам покой небытия.

О край благой, счастливей нет на свете,
Чем ты, моей отрады обладатель,
Которую оплакиваю я.





ССХХХІІ

Был македонский вождь непобедим,
Но гневу под удар себя подставил:
Вотще Лисипп его победы славил
И с кистью Апеллес стоял пред ним.

Тидей, внезапным гневом одержим,
Кончаясь, Меналиппа обезглавил.
И Суллы дни все тот же гнев убавил,
Не близоруким сделав, но слепым.

Был гнев известен Валентиниану,
Аяксу ведом, что, повергнув рать
Врагов, потом с собою счета сводит.

Гнев равносилен краткому дурману,
И кто его не может обуздать,
Позор подчас, когда не смерть, находит.





ССХХХІV

Приют страданий, скромный мой покой,
Когда не ведала душа надрыва,
Ты был подобьем тихого залива,
Где ждал меня от бурь дневных покой.

Моя постель, где в тишине ночной
Напрасно сон зову нетерпеливо,
О, до чего рука несправедлива,
Что урны слез подьмет над тобой!

И не от тайны я уже спасаюсь,
Себя и мыслей собственных бегу,
Что крыльями бывали для полета,

И в страхе одиночества бросаюсь
К толпе презренной, давнему врагу,
За помощью — чтоб рядом был хоть кто-то.





ССЛ

В разлуке ликом ангельским давно ли
Меня во сне умела утешать
Мадонна? Где бывая благодать?
Тоску и страх унять в моей ли воле?

Все чаще сострадания и боли
Мне мнится на лице ее печать,
Все чаще внемлю то, что согреть
Надеждой грудь мою не может боле.

«Ты помнишь, не забыл вечерний час,—
Мне говорит любимая,— когда
Уход поспешный мой тебя обидел?»

Я не могла сказать тебе тогда
И не хотела, что в последний раз
Ты на земле меня в тот вечер видел».





ССLI

Сон горестный! Ужасное виденье!
Безвременно ль родимый свет угас?
Ударил ли разлуки страшный час —
С тобой, мое земное провиденье,

Надежда, мир, отрада, ограждение?
Что ж не посла я слышу грозный глас?
Ты ж весть несешь!.. Но да не будет! Спас
Тебя Господь, и лживо наваждение!

Я чаю вновь небесный лик узреть,
Дней наших солнце, славу нам родную,
И нищий дух в лучах его согреть.

Покинула ль блаженная земную
Прекрасную гостиницу — ревную.
О, смерти, Боже! Дай мне умереть!





CCLIV

Я о моей врагине тщетно жду
Известий. Столько для догадок пищи,
Но сердце упований пепелище
Напоминает. Я с ума сойду.

Иным краса уж принесла беду,
Она же их прекраснее и чище,
И, может, небо прочит ей в жилище
Господь, чтоб сделать из нее звезду,

Нет, солнце. И тогда существованье
Мое — чреда неистощимых бед —
Пришло к концу. О, злое расставанье,

Зачем любимой предо мною нет?
Исчерпано мое повествованье,
Мой век свершился в середине лет.





CCLXII

— Жизнь — это счастье, а утратить честь —
Мне кажется, не столь большое горе.
— Нет! Если честь несвойственна синьоре,
То в ней ничто нельзя за благо счесть.

Она мертва — пусть даже пламя есть
В ее измученном и скорбном взоре.
Дорога жизни в тягостном позоре
Страшней, чем смерть и чем любая месть.

Лукрецию бы я не осуждала,
Когда б она без помощи кинжала
В великой скорби казнь свою нашла —

Таких дорог известно очень много,
Все изменны, и лишь одна дорога
Уводит нас от горечи и зла.



На смерть
мадонны Лауры

CCLXV

Безжалостное сердце, дикий нрав
Под нежной, кроткой, ангельской личиной
Бесславной угрожают мне кончиной,
Со временем отнюдь добрей не став.

При появлении и при смерти трав,
И ясным днем, и под луной пустынной
Я плачу. Жребий мой тому причиной,
Мадонна и Амур. Иль я не прав?

Но я отчаиваться не намерен,
Я знаю малой капли образец,
Точившей мрамор и гранит усердьем.

Слезой, мольбой, любовью, я уверен,
Любое можно тронуть из сердец,
Покончив навсегда с жестокосердьем.



CCLXVI

Синьор, я вечно думаю о Вас,
И к Вам летит мое любимое слово;
Моя судьба (о, как она сурова!)
Влечет меня и кружит каждый час.

И жар любви все так же не угас —
Я жду давно конца пути земного.
Два светоча я призываю снова,
Как призывал их прежде много раз.

Мой господин, моя благая донна,
Свободы мне на свете больше нет,
Собою сам навеки я наказан:

Зеленый Лавр — и гордая Колонна,—
К одной прикован я пятнадцать лет,
К другому — восемнадцать лет привязан.





CCLXVII

О лик прекрасный! О приветный взор!
О грациозность! Все взяла могила!
О речь, что кротость в гордеце будила
И трусу трусость ставила в укор!

О светлая улыбка, что в упор
Неосторожного меня сразила!
Душа, что если б раньше в мир ступила,
Могла бы царственный носить убор!

Я вами и сейчас дышу, как прежде,
Вы были мне единственной усладой,
Вас больше нет — и белый свет немил.

Вы дали пищу тлеющей надежде,
Когда расстался я с моей отрадой,
Но ветер за словом слово уносил.





CCLXIX

Повержен Лавр зеленый. Столп мой стройный
Обрушился. Дух обнищал и сир.
Чем он владел, вернуть не может мир
От Индии до Мавра. В полдень знойный

Где тень найду, скиталец беспокойный?
Отраду где? Где сердца гордый мир?
Все смерть взяла. Ни золото, ни сапфир,
Ни царский трон — мздой не были б достойной

За дар двойной былого. Рок постиг!
Что делать мне? Повить чело кручиной —
И так нести тягчайшее из иг.

Прекрасна жизнь — на вид. Но день единый,—
Что долгих лет усиьем ты воздвиг,—
Вдруг по ветру развеет паутиной.





CCLXXI

Когда меня от многолетних пут
Освободила Смерть одним ударом,
Я знал, что не поддамся новым чарам,
Но бог любви коварный — тут как тут.

Он был уверен, что не пропадут
Его уловки и приманки даром,
И начал новым соблазнять пожаром,
Гасить который — бесполезный труд.

И если бы не опыт первой боли,
Меня бы снова пламя охватило,
Спалив сухое дерево дотла.

И снова Смерть спасла от горькой доли,
Встав на пути огня, который сила
Иная погасить бы не могла.





CCLXXII

Уходит жизнь — уж так заведено,—
Уходит с каждым днем неудержимо,
И прошлое ко мне непримиримо,
И то, что есть, и то, что суждено.

И позади и впереди — одно,
И вспоминать и ждать невыносимо,
И только страхом божьим объяснимо,
Что думы эти не пресек давно.

Все, в чем отраду сердце находило,
Сочту по пальцам. Плаванью конец:
Ладье не пересилить злого шквала.

Над бухтой буря. Порваны ветрила,
Сломалась мачта, изнурен гребец,
И путеводных звезд как не бывало.





ССLXXIII

Остановись! Зачем неумолимо
Пытаешь душу тем, что невозвратно?
Зачем тот жар раздраживаешь жадно,
В котором сам горишь неисцелимо?

Тот голос милый, взгляд неотразимо
Пленительный, тобою многократно
Прославленный,— их больше нет. Обрато
Звать бесполезно, ждать — невыносимо.

Покончим же с уклончивой мечтою!
Пойдем на небо, если с дольным краем
Мы так не ладим с самого начала...

Ведь мы еще той красоты не знаем,
И той любви — хоть будь она святою,
Которая бы духа не смущала.





CCLXXIV

Умолкни, мысль моя! Другие упредили
Тебя в жестокости; сметая все препоны,
Покуда я войска искал для обороны,
Любовь, Судьба и Смерть мой замок осадили.

И ты, все прежнее! и ты остался в силе,—
Ты, сердце,— все мои поправшее законы,—
Чудовищный подвох — вот пастырь твой
исконный:
Ты — друг моих врагов, и копишь их — не
ты ли?!

В тебе живет любовь, как таинство святое.
Тебя дары Судьбы блестяще увенчали.
И смерть вошла в тебя — помочь мученьям
старым,

И уж последнею меня добить бедою...
Ты пестуешь грехи, ты поддаешься чарам,—
Ты, только ты одно — очаг моей печали.





CCLXXV

Глаза мои! — зашло то солнце, за которым
В нездешние края пора собраться нам...
Мы снова будем с ним, — оно заждáлось там, —
Горюет, судит нас по нашим долгим сборам...

О слух мой! — к ангельским теперь приписан
хорам

Тот голос, более понятный небесам.
Мой шаг! — зачем, за той пускаясь по пятам,
Что окрыляла нас, ты стал таким нескорым?

Итак, зачем вы все мне дали этот бой?
Не я причиною, что убежала взгляда,
Что обманула слух, что отнята землей, —

Смерть — вот кого хулить за преступленья надо!
Того превознося смиренною хвалою,
Кто разрешитель уз, и после слез — отрада.





CCLXXVI

Когда не стало ангельского взгляда,
И ужас жизни мне открылся вдруг,
Заговорил я, — дабы речи звук
Убавил в сердце жар и муки ада.

Мне в горе правом — только стон — награда
Самой любви известно: мой недуг
Ничем иным не огражден от мук.
И только Смерть была бы мне — отрада.

Но не она ль и разлучила нас!
А ты, земля, что, пряча, облакаешь
Столь дивный облик, сладостный для глаз,—

Счастливая! Зачем так много дней —
Глухим от скорби — мной пренебрегаешь,—
Украв мадонну — свет любви моей?!





CCLXXVII

Коль скоро бог любви былой завет
Иным наказом не заменит вскоре,
Над жизнью смерть восторжествует в споре,—
Желанья живы, а надежда — нет.

Как никогда, страшусь грядущих бед,
И прежнее не выплакано горе,
Ладью житейское терзает море,
И ненадежен путеводный свет.

Меня ведет мираж, а настоящий
Маяк — в земле, верней, на небесах,
Где ярче светит он душе скорбящей,

Но не глазам,— они давно в слезах,
И скорбь, затмив от взора свет манящий,
Сгущает ранний иней в волосах.





CCLXXVIII

В цветущие, прекраснейшие лета,
Когда Любовь столь властна над Судьбою,
Расставшись с оболочкою земною,
Мадонна взмыла во владенья света.

Живая, лишь сиянием одета,
Она с высот небесных правит мною.
Последний час мой, первый шаг к покою,
Настань, смени существованье это!

Чтоб, мыслям вслед, за нею воспарила,
Раскрепостясь, душа моя, ликуя,
Приди, приди, желанная свобода!

По этой муке надобна и сила,
И промедленья боле не снесу я...
Зачем не умер я тому три года?





CCLXXIX

Поют ли жалобно лесные птицы,
Листва ли шепчет в летнем ветерке,
Струи ли с нежным рокотом в реке,
Лаская брег, гурлят, как голубицы,—

Где б я ни сел, чтоб новые страницы
Вписать в дневник любви, моей тоске
Родные вздохи вторят вдалеке,
И тень мелькнет живой моей царицы.

Слова я слышу... «Полно дух крушить
Безвременно печалию,— шепнула,—
Пора от слез ланиты осушить!

Бессмертье в небе грудь моя вдохнула.
Его ль меня хотел бы ты лишить?
Чтоб там прозреть, я здесь глаза сомкнула».





CCLXXX

Не знаю края, где бы столь же ясно
Я видеть то, что видеть жажду, мог
И к небу пени возносить всечасно,
От суеты мирской, как здесь, далек;

Где столько мест, в которых безопасно.
Вздыхать, когда для вздохов есть предлог,—
Должно быть, как на Кипре ни прекрасно,
И там подобный редкость уголок.

Все полно здесь к любви благоволенья,
Все просит в этой стороне меня
Хранить любовь залогом утешенья.

Но ты, душа в обители спасенья,
Скажи мне в память рокового дня,
Что мир достоин моего презренья.





CCLXXXI

Как часто здесь, в моем земном раю,
Брожу, невидимый чужому взгляду,
И на траву, вздыхая, слезы лью,
В слезах и вздохах находя усладу.

Как часто я зову любовь мою,
Забыв, что Смерть поставила преграду
Меж мной и той, которую пою.
Я верил, что найду мою отраду!

То отражает Сорга голубая
Ее во образе богини вод,
На берегу присевшей, отдыхая,

То вижу — по траве она идет
И мнет цветы, как женщина живая,
И сострадание в глазах несет.





CCLXXXII

Ты смотришь на меня из темноты
Моих ночей, придя из дальней дали:
Твои глаза еще прекрасней стали,
Не исказила смерть твои черты.

Как счастлив я, что скрашиваешь ты
Мой долгий век, исполненный печали!
Кого я вижу рядом? Не тебя ли
В сиянии нетленной красоты

Там, где когда-то песни были данью
Моей любви, где нынче слезы лью,
Тобой не подготовлен к расставанью?

Но ты приходишь — и конец страданью:
Я узнаю любимую мою
По голосу, походке, одеянию.





ССLXXXIII

Ты красок лик прекраснейший лишила,
Ты погасила, Смерть, прекрасный взгляд,
И опустел прекраснейший наряд,
Где благородная душа гостила.

Исчезло все, что мне отрадно было,
Уста сладкоречивые молчат,
И взор мой больше ничему не рад,
И слуху моему ничто не мило.

Но, к счастью, утешенье вновь и вновь
Приносит мне владычица моя —
В другие утешенья я не верю.

И если б свет и речь мадонны я
Мог воссоздать, внушил бы я любовь
Не то что человеку — даже зверю.





CCLXXXV

Не слышал сын от матери родной,
Ни муж любимый от супруги нежной
С такой заботой, зоркой и прилежной,
Преподанных советов: злой виной

Не омрачать судьбы своей земной —
Какие, малодушный и мятежный,
Приемлю я от той, что, в белоснежный
Одета свет, витает надо мной

В двойном обличье: матери и милой.
Она трепещет, молит и горит,
К стезе добра влечет и нудит силой —

И, ей подвигнут, вольный дух парит;
И мир мне дан с молитвой легкокрылой,
Когда святая сердцу говорит.





CCLXXXVII

Сеннуччо, дружбы голосу внемли!
Меня покинул ты, жестокий к другу,
Однако смерти ставлю то в заслугу,
Что для тебя блаженства дни пришли.

Ты видишь оба полюса Земли,
Взор обращая к северу и к югу,
Движенье звезд — прямое и по кругу,
И я утешен от тебя вдали.

Гвиттону, Чино, Данте в третьей сфере —
Поклон сердечный, и другим певцам,
Любовной музе верным в той же мере.

Мадонне же, как предаюсь слезам,
Скажи, как сердце держит настезь двери
Ее красе, ее святым делам.





CCLXXXVIII

Я вздохами заполнил все вокруг,
С вершин суровых теша взор местами,
Где родилась державшая годами
Меня в плену надежд, сомнений, мук.

Я с юных лет люблю ее, и вдруг
Она взята навеки небесами,
И плачу я горючими слезами,
И что ни взять — все валится из рук.

Ни камня нет, ни пня на этих склонах,
Ни деревца над этою рекою,
В окрестных долах нет ни стебелька,

Ни капли в ручейках или затонах,
Которые б не знали, что со мною,
Не знали, сколь печаль моя горька.





CCLXXXIX

Свой пламенник, прекрасней и ясней
Окрестных звезд, в ней небо даровало
На краткий срок земле; но ревновало
Ее вернуть на родину огней.

Проснись, прозри! С невозвратимых дней
Волшебное спадает покрывало.
Тому, что грудь мятежно волновало,
Сказала «нет» она. Ты спорил с ней.

Благодари! То нежным умиленьем,
То строгостью она любовь звала
Божественней расцвеств над вождельем.

Святых искусств достойные дела
Глаголом гимн творит, краса — явленьем:
Я сплел ей лавр, она меня спасла!





ССХС

Теперь я вижу: то, что горем было,
Преобразилось в радость и везенье.
Само терзанье стало во спасенье.
Само сраженье мир установило.

Не лучше ли, что так она решила?
Что в пылокое нечистое томленье
Мое — не заронила утоленья,
А в небе скрылась, под землей почила.

Но страсть невидящая, ум строптивый
Надежно так меня с дороги сбили,
Что гибель целью я почел конечной.

Благословенна та, что спит в могиле!
Она мой жар смирила нечестивый
Она спасла меня для жизни вечной.





ССХСII

Я припадал к ее стопам в стихах,
Сердечным жаром наполняя звуки,
И сам с собою пребывал в разлуке:
Сам — на земле, а думы — в облаках.

Я пел о золотых ее кудрях,
Я воспевал ее глаза и руки,
Блаженством райским почитая муки,
И вот теперь она — холодный прах.

А я, без маяка, в скорлупке сирой
Сквозь шторм, который для меня не внове,
Плыву по жизни, правя наугад.

Да оборвется здесь на полуслове
Любовный стих! Певец устал, и лира
Настроена на самый скорбный лад.





ССХСVII

В ней добродетель слиться с красотою
Смогли в столь небывалом единенье,
Что в душу к ней не занесли смятенья,
Не мучили присущей им враждою.

Смерть разделила их своей косою:
Одна — навеки неба украшенья,
В земле — другая. Кротких глаз свеченье
Поглощено могилой роковою.

Коль вслед любви, почиющей во гробе,
Ее устам, речам, очам (фиалам
Небесным, что досель мой дух тревожат)

Отправиться — мой час пока не пробил,
То имени блаженному, быть может,
Я послужу еще пером усталым.





ССХСVIII

Дни, убегая, пламень угасили,
Который жег меня, не согревая,
Рассеяли мечты о дольном рае,
Свели на нет плоды моих усилий

И на две половины разделили
Все, чем владел, на чудо уповая:
Одна из них сияет в горнем крае,
Другая — похоронена в могиле.

Я сам себя страшусь, себя жалею,
Завидую любой судьбе жестокой,
Настолько нищ и наг в своей пустыне.

О жизнь, о смерть, о свет звезды далекой,
Час давний, ставший участью моею,
В какую бездну ввергнут вами ныне!





СССІ

Дол и река — слез, жалоб и стenanий
Моих вместилище; вы, звери, птицы,
Которых здесь призвало воцариться
Зеленых берегов очарованье;

Ты, ветер, брат смятенного дыханья,
Холмы — переживаний вереница,
Тропа, которой властною десницею
Ведет меня любви воспоминанье,

Я узнаю вас в вашей дивной воле.
Но вы меня узнаете едва ли,
Носителя тоски моей безбрежной,

Прибредшего взглянуть на край, отколе
Ушла она в заоблачные дали,
Земле оставив только прах свой нежный.





СССII

Восхитила мой дух за грань вселенной
Тоска по той, что от земли взята;
И я вступил чрез райские врата
В круг третий душ. Сколь менее надменной

Она предстала в красоте нетленной!
Мне руку дав, промолвила: «Я та,
Что страсть твою гнала. Но маета
Недолго длилась, и неизреченный

Мне дан покой. Тебя лишь возле нет,—
Но ты придешь,— и дольного покрова,
Что ты любил. Будь верен; я — твой свет».

Что ж руку отняла и смолкло слово?
Ах, если б сладкий все звучал привет,
Земного дня я б не увидел снова!





СССVII

Я уповал на быстрые крыла,
Поняв, кому обязан я полетом,
На то, что скромная моя хвала
Приблизится к моим живым тенетам.

Однако если веточка мала,
Ее к земле плоды сгибают гнетом,
И я не мог сказать: «Моя взяла!» —
Для смертных путь закрыт к таким
высотам.

Перу, не то что слову, не взлететь,
Куда Природа без труда взлетела,
Пленившую меня сплетая сеть.

С тех пор как завершил Природы дело
Амур, я не достоин даже зреть
Мадонну был, но мне судьба радела.





СССХ

Зефир вернулся с родственною свитой:
Принес напевы Прокны неизменной,
И Филомелы плач проникновенный,
И свет весны, из роз и снега свитый.

В небесной выси тучки нет сердитой.
Юпитер счастлив дочерью бесценной.
Земля, волна, любая тварь — блаженной,
Любви полны... И только я, разбитый,

Я, безутешный,— вижу возвращенье
Тягчайших стонов из глубин сердечных,—
Ведь унесла она ключи от рая!

И склоны гор, где щебет и цветенье,
И нега в жестах женщин безупречных —
Пустыня для меня и волчья стая.





СССХІ

О чем так сладко плачет соловей
И летний мрак живет волшебной силой?
По милой ли тоскует он своей?
По чадам ли? Ни милых нет, ни милой.

Всю ночь он будит грусть мою живей,
Ответствуя, один, мечте унылой...
Так, вижу я: самих богинь сильней
Царица Смерть! И тем грозит могилой!

О, как легко чарует нас обман!
Не верил я, чтоб тех очей светила,
Те солнца два живых, затмил туман,—

Но черная Земля их поглотила.
«Все глен! — поет нам боль сердечных ран.—
Все, чем бы жизнь тебя ни обольстила».





СССХІІ

Ни ясных звезд блуждающие станы,
Ни полные на взморье паруса,
Ни с пестрым зверем темные леса,
Ни всадники в доспехах среди поляны,

Ни гости с вестью про чужие страны,
Ни рифм любовных сладкая краса,
Ни милых жен поющих голоса
Во мгле садов, где шепчутся фонтаны,—

Ничто не тронет сердца моего.
Все погребло с собой мое светило,
Что сердцу было зеркалом всего.

Жизнь однозвучна. Зрелище уныло.
Лишь в смерти вновь увижу то, чего
Мне лучше б никогда не видеть было.





СССХІІІ

О ней писал и плакал я, сгорая
В прохладе сладостной; ушло то время.
Ее уж нет, а мне осталось бремя
Тоски и слез — и рифм усталых стая.

Взор нежных глаз, их красота святая
Вошли мне в сердце, словно в пашню семя,—
Но это сердце выбрала меж всеми
И в плащ свой завернула, отлетая.

И с ней оно в земле и в горних кущах,
Где лучшую из чистых и смиренных
Венчают лавром, Славой осиянным...

О, как мне отрешиться от гнетущих
Телесных риз, чтоб духом первозданным
И с ней и с сердцем слиться — меж
блаженных?





СССХІV

Душа моя, ты неминучих бед
В расцвете счастья видела начало,
Когда в глазах возлюбленной искала
На будущее утешенья свет.

Движения, слова, одежды цвет
И скорбь внезапная — не так уж мало,
Чтобы сказать (однако ты молчала!):
«Конец пришел чреде блаженных лет».

Что злые тучи надо мной нависли
Не ведал я, когда, от счастья пьян,
В последний раз любимыми глазами

Лелеял взор, чтоб дорогие мысли
И сердце им оставить — талисман,
Как при прощанье с лучшими друзьями.





СССХV

Преполовилась жизнь. Огней немного
Еще под пеплом тлело. Нетяжел
Был жар полудней. Перед тем как в дол
Стремглав упасть, тропа стлалась отлого.

Утишилась сердечная тревога,
Страстей угомонился произвол,
И стал согласьем прежних чувств раскол.
Глядела не пугливо и не строго

Мне в очи милая. Была пора,
Когда сдружиться с Чистотой достоин
Амур, и целомудренна игра

Двух любящих, и разговор спокоен.
Я счастлив был... Но на пути добра
Нам Смерть предстала, как в железе воин.





СССХVII

Амур меня до тихого причала
Довел лишь в вечереющие годы
Покоя, целомудрия — свободы
От страсти, что меня обуревала.

Не потому ль душа любимой стала
Терпимее к душе иной породы?
Но Смерть пришла и загубила всходы.
Все, что растил — в единый миг пропало.

А между тем уж время приближалось,
Когда она могла б внимать сердечно
Моим словам о нежности, что длится.

В ее святых речах сквозила б жалость...
Но стали бы тогда у нас, конечно,
Совсем иными волосы и лица...





СССХVIII

Когда судьба растение сотрясла,
Как буря или как удар металла,
И обнажились корни догола,
И гордая листва на землю пала,

Другое Каллиопа избрала
С Эвтерпой — то, что мне потом предстало,
Опутав сердце; так вокруг ствола
Змеится плющ. Все началось сначала.

Красавец лавр, где, полные огня,
Мои гнездились прежде воздыханья,
Не шевельнув ни веточки в ответ,

Оставил корни в сердце у меня,
И есть кому сквозь горькие стенанья
Взывать, но отклика все нет и нет.





СССХХ

О, ветер дней минувших над холмами,
Блаженным местом твоего рожденья,
Мой свет, очам даривший наслажденье,
Их ныне застилающий слезами!

Бессильные мечты, что стало с вами!
Луг и река — в сиротском оскуденье,
В твоём гнезде — печаль и запустенье...
Хотел бы в нём покоиться, как в храме...

А некогда желал под этим кровом
Я передышки обрести усладу
За все служение, за всю усталость...

Но был, увы, нещедрым и суровым
Хозяин мой; я получил в награду
Лишь пепла горсть, что от огня осталась.





СССХХІ

Так вот гнездо, в котором пламенело
Сокровище из пурпура и злата...
Мой Феникс! Под крылом твоим когда-то
Душа моя и грелась и горела.

Исток блаженной муки без предела,
Где лик твой светлый, о моя утрата?
На родине восхода и заката
Ты, что меж смертных равных не имела.

Тобой покинутый в тоске и горе,
Иду к местам, где все казалось мило,
Где все священо, ибо горе — мудро.

Гляжу, как ночь окутывает взгорья,
Откуда ты на небо воспарила
И где от глаз твоих рождалось утро.





СССХХІХ

О, час, о, миг последнего свиданья,
О, заговор враждебных мне светил!
О верный взор, что ты в себе таил
В минуту рокового расставанья?

Я твоего не разгадал молчанья.
О, до чего я легковверен был,
Решив, что часть блаженства сохранил!
Увы! Рассеял ветер упованья.

Уже тогда была предрешена
Ее судьба, а значит — и моя,
Отсюда и печаль в прекрасном взоре;

Но очи мне застлала пелена,
Не дав увидеть то, что видел я,
О большем не подозревая горе.





СССХХХІІІ

Идите к камню, жалобные строки,
Сокрывшему любовь в ее расцвете,
Скажите ей (и с неба вам ответит,
Пусть в прахе тлеть велел ей рок жестокий),

Что листья лавра в горестном потоке
Ищу и собираю; листья эти —
Последние следы ее на свете —
Ведут меня и близят встречи сроки,

Что я о ней живой, о ней в могиле —
Нет, о бессмертной! — повествую в муке,
Чтоб сохранить прелестный образ миру.

Скажите ей — пусть мне протянет руки
И призовет к своей небесной были
В мой смертный час, как только брошу лиру.





СССХХХV

Средь тысяч женщин лишь одна была,
Мне сердце поразившая незримо.
Лишь с обликом благого серафима
Она сравниться красотой могла.

Ее влекли небесные дела,
Вся суета земли скользила мимо.
Огнем и хладом тягостно палима,
Моя душа простерла к ней крыла.

Но тщетно — плоть меня обременяла;
Навеки донну небеса призвали,
И ныне холод мне сжимает грудь:

Глаза — ее живой души зерцала,—
О, для чего Владычица Печали
Сквозь вас нашла свой беспощадный
путь?





СССХХХVI

Я мыслию лелею непрестанной
Ее, чью тень отнять бессильна Лета,
И вижу вновь ее в красе расцвета,
Родной звезды восходом осиянной.

Как в первый день, душою обаянной
Ловлю в чертах застенчивость привета.
«Она жива, — кричу, — как в оны лета!»
И дара слов молю из уст желанной.

Порой молчит, порою... Сердцу дорог
Такой восторг!.. А после, как от хмеля
Очнувшийся, скажу: «Знай, обманула

Тебя мечта! В тысяча триста сорок
Осьмом году, в час первый, в день апреля
Шестый — меж нас блаженная уснула».





СССXL

Мой драгоценный, нежный мой оплот,
Который скрыла от меня могила
И благосклонно небо приютило,
Приди к тому, кто состраданья ждет!

Ты посещала сны мои, но вот
Меня и этой радости лишила.
Какая останавливает сила
Тебя? Ведь гнев на небе не живет,

Что пишу на земле в чужих мученьях
И сердцу доброду несут подчас,
Тесня Амура в собственных владеньях.

Ты зришь меня, ты внемлешь скорбный глас,
Утешь — не наяву, так в сновиденьях,
Сойди ко мне, сойди еще хоть раз.





СССXLIV

Быть может, сладкой радостью когда-то
Была любовь, хоть не скажу, когда;
Теперь — увы! — она моя беда,
Теперь я знаю, чем она чревата.

Подлунной гордость, та, чье имя свято,
Кто ныне там, где свет царит всегда,
Мне краткий мир дарила иногда,
Но это — в прошлом. Вот она, расплата!

Смерть унесла мои отрады прочь,
И даже дума о душе на воле
Бессильна горю моему помочь.

Я плакал, но и пел. Не знает боле
Мой стих разнообразья: день и ночь
В глазах и на устах — лишь знаки боли.





CCCXLVI

Когда она почилa в Боге, встретил
Лик ангелов и душ блаженных лик
Идущую в небесный Град; и клик
Ликующий желанную приветил.

И каждый дух красу ее приметил
И вопрошал, дивясь: «Ужель то лик
Паломницы земной? Как блеск велик
Ее венца! Как лен одежды светел!..»

Обретшая одну из лучших доль,
С гостиницей расставшаяся бренной,
Оглянется порою на юдоль —

И, мнится, ждет меня в приют священный.
За ней стремлю всю мысль, всю мощь,
всю боль...
«Спеши!» — торопит шепот сокровенный.





CCCXLIX

Мне поминутно приглашение мнится
Гонца мадонны следовать за ним:
Я внутренне и внешне стал другим,—
В короткий срок настолько измениться!

Решив от прежней жизни отрешиться,
Я изменил обычаям былым.
Не ведаю, сколь скоро дням моим
Предел наступит, но близка граница.

О, вожаемый день, когда тюрьму
Земную покидая, груз одежд
Недолговечных наших здесь оставлю

И прочь из мрака к светочам надежд —
Небесному владыке моему
И госпоже моей — свой путь направлю!





СССЛІІІ

Пичужка, что, держа куда-то путь,
Поешь иль плачешь, вспоминая лето,
Тогда как в сумрак все вокруг одето
И месяцев веселых не вернуть,—

Когда б ты знала, что и мне ничуть
Не легче и что нет в душе просвета,
Ты опустилась бы, я верю в это,
Чтоб скорбь делить, к несчастному на грудь.

Моя судьба твоей сродни едва ли:
Ты, может, плачешь о живой, а я —
О той, кого земля и небо взяли.

Но поздний час и краткость бытия
Сближают нас, и мне к твоей печали
Подсказывает жалость боль моя.





СССLXI

Мне зеркало сказала напрямик:
«Твой взор потух, твои скудеют силы,
Твой дух поник, усталый и остывший,
Не обольщайся, ты уже старик.

Так примиришься! Кто понял и постиг
Закон вещей, тот дальше от могилы».
И вдруг мой сон развеялся бескрылый —
Так от воды огонь стихает вмиг.

Идет к концу, пора считать минуты,
Нам только раз дается жизнь земная,
Но тем сильнее в душе звучит хвала

Ей, сбросившей пленительные путы,
Ей, кто была единственной, живая,
Кто славу женщин всех отобрала.





CCCLXIV

Лет трижды семь повинен был гореть я,
Амуров раб, ликуя на костре.
Она ушла — я дух вознес горе.
Продлится ль плач за грань десятилетия?

Страстей меня опутавшую сеть я
Влачить устал. Подумать о добре
Давно пора. Твоей, Господь, заре
Я старости вручаю перволетья!

Зачем я жил? На что растратил дни?
Бежал ли я змеи греха ужасной?
Искал ли я Тебя? Но помяни

К Тебе мой вопль из сей темницы страстной,
Где Ты меня замкнул, и чрез огни
Введи в Свой рай тропую безопасной!





CCCLXV

О канувшем былом моя кручина,
О том, что, возлюбивши горстку праха,
Я не дал крыльям взлета и размаха,
Благим делам не положил почина.

Моя Тебе открыта сердцевина.
Исполнен горя, слабостей и страха,
Я сам себе — и приговор и плаха.
О Господи, наставь меня, как сына,

И помоги блуждавшему в ненастье
Мир обрести; уж коли пребыванье
Бесплодным было — научи проститься.

Остаток моего существованья
И смерть саму направь своей десницей.
Я уповаю на Твое участие.





КОММЕНТАРИЙ



Основные даты жизни и творчества Франческо Петрарки



1304 (20 июля) — родился в Ареццо в семье Петракколо и Элетты Каниджани. Отец — флорентинец; за принадлежность к партии белых гвельфов был изгнан в 1302 году.

1311 — семья перебирается в Пизу, где, по свидетельству Боккаччо, знакомится с Данте.

1312 — Петрарка с родителями уезжает в Авиньон и поселяется в Карпентра. Франческо начинает изучать грамматику, риторику и диалектику с маэстро Конвеневоле из Прато.

1316 — Петрарка в университете Монпелье занимается правом. Там проводит четыре года.

1320 — переезжает в Болонью, где продолжает заниматься юридическими науками, хотя большую часть времени проводит за изучением Вергилия и Цицерона.

1326 — умирает отец, и Петрарка возвращается в Авиньон. Вместе со своим братом Герардо избирает ду-

ховное поприще. Получив сан «светского каноника», от дальнейшей церковной карьеры отказывается.

1327 (6 апреля) — в церкви св. Клары встречает Лауру, бывшую уже два года замужем за знатным авиньонским дворянином Уго де Сад. Рождаются первые стихи на народном (итальянском) языке («*Regum vulgarium fragmenta*»), которые потомки назовут «Канцоньере», или «Книгой песен». Работа над «Канцоньере» будет продолжаться до конца жизни Петрарки.

1330 — сопровождает в Гасконь своего друга и покровителя епископа Джакомо Колонна. По возвращении в Авиньон состоит при кардинале Джованни Колонна, брате Джакомо. Начинает работу над «Стихотворными посланиями» («*Epystole metricae*») на латинском языке.

1333 — предпринимает путешествие в Северную Францию, Фландрию, Южную Германию. В Льеже обнаруживает цинцероновский трактат «В защиту Архия» («*Pro Archia*»). Через Арденнский лес, берегом Роны возвращается в Авиньон.

1336 — новое путешествие в Италию. Есть сведения о морском путешествии Петрарки в Испанию и Англию. Рождается сын Джованни.

1338 — начало работы над поэмой «Африка» и над «Жизнью знаменитых мужей» (в Воклюзе).

1340 — от Римского сената и от Парижского университета приходят предложения об увенчании Петрарки золотым поэтическим венком.

1341 (февраль) — из Марселя на корабле отправляется в Неаполь к королю Роберту.

1341 (8 апреля) — Петрарка увенчан на Капитолийском холме в Риме.

1341 (май) — в Парме при дворе Аццо да Корреджо.

1342 (весна) — снова в Авиньоне. Начинает с помощью калабрийского монаха Варлаама изучать греческий язык. Работа над «Моей тайной» («De secreto conflictu curarum mearum»).

1343 — рождается дочь Франческа. В сентябре отправляется послом папы к Неаполитанскому двору. Посещает Поццуоли, озера Лукрино и Аверно, грот Сивиллы, то есть места, описанные в «Энеиде» Вергилия. Начинает свой трактат «О достопримечательных вещах» («Regum memorandum»). В конце декабря покидает Неаполь и направляется в Парму. Год глубокого душевного кризиса Петрарки. Брат Герардо, ушедший в монахи после смерти своей возлюбленной, уговаривает Франческо отказаться от мирских дел и тоже последовать за ним в монастырь. Много путешествует, спасаясь от угнетавших его противоречивых намерений.

1344 — наиболее вероятная дата написания канцоны «К Италии», вызванной кровавыми междоусобными распрями в стране.

1345 — бежит из осажденной Пармы. В Реджо Эмилии становится жертвой нападения разбойников. Добирается до Вероны, где помещает сына Джованни в школу Ринальдо Кавалькини. Обнаруживает письмо Цицерона «К Аттику» («Ad Atticum»). Возвращается в Воклюз.

1346 — начинает трактат «Об уединенной жизни» («De vita solitaria») и «Буколики» («Bucolicum Carmen»).

1347 — навещает брата в монастыре Монтриё. Отправляется в Рим, чтобы встретиться с народным трибуном Кола ди Риенцо. Но в Генуе меняет свое намерение.

1348 (6 апреля) — во время эпидемии чумы умирает Лаура. Петрарка узнает об этом в Вероне.

1349 — интенсивно работает над «Канцоньере» и начинает составлять сборник латинских писем «К друзьям» («Regum familiarium»).

1350 — путешествие в Верону, Мантую, Рим, Арреццо.

1351 — в Падуе получает через Боккаччо приглашение занять кафедру во Флоренции. Возвращается в Авиньон, оттуда — в Воклюз.

1352 — вероятное начало работы над «Триумфами» (на итальянском языке, в терцинах).

1353 — по приглашению Джованни Висконти отправляется в Милан, где остается при его дворе в течение восьми лет.

1355 — сочиняет инвективу «Против врача» («Contra medicum quendam»). Отправлен послом в Прагу к императору Карлу, произведшему Петрарку в графы «палатинские».

1358 — сочиняет «Сирийские путешествия» («Itinerarium Syriacum»).

1361 — отправляется послом в Париж. Вернувшись в Милан, бежит от новой эпидемии чумы сперва в Падую, потом в Венецию; венецианский сенат отводит ему дворец на Рива-дельи-Скьявони.

1364—1366 — завершает работу над сборниками «К друзьям» и «Старческие письма» («Regum senilium libri»).

1366 — завершает трактат «Средства против счастливой и злосчастной судьбы» («De remediis iutrusque fortunae»).

1367 — пишет трактат «О своем и о чужом невежестве» («De sui ipsius et multorum ignorantia»).

1368 — окончательно отделяет свой дом в Аркуа, где поселяется с дочерью и зятем.

1374 (19 июля) — умирает в Аркуа за чтением Вергилия.



Франческо Петрарка в русской поэзии



Шестьсот лет, прошедших со дня смерти Петрарки, срок огромный. Различные поколения, в зависимости от своего литературного сознания, господствующих эстетических норм и вкусов, прочитывали Петрарку по-разному. Одни видели в нем изощреннейшего поэта, ставившего превыше всего форму, словесное совершенство, видели в Петрарке некую идеальную поэтическую норму, обязательную для подражания. Другие ценили в нем прежде всего неповторимую индивидуальность, слышали в нем голос нового времени. Одни безоговорочно причисляли его к «классикам», другие с не меньшей категоричностью к «романтикам».

Первое знакомство с Петраркой в России произошло в начале XIX века, когда восприятие его было в значительной степени подсказано именно «романтической» репутацией Петрарки, сложившейся под пером теоретиков и практиков западноевропейского романтизма. Последующая история русского Петрарки внесла в это восприя-

тие существенные поправки, порой предлагая в корне иные прочтения. О некоторых наиболее ярких эпизодах из этой истории и пойдет речь в дальнейшем.

* * *

В «Селе Степанчикове» (глава «Фома Фомич создает всеобщее счастье») Достоевский вставляет в уста своего героя следующую тираду: «Я видел, что нежное чувство расцветает в ее сердце (речь идет о сердце Настеньки.— Н. Т.), как вешняя роза, и невольно припомнил Петрарку, сказавшего, что «невинность так часто бывает на волосок от гибели». Я вздыхал, стонал, и хотя за эту девицу, чистую, как жемчужина, я готов был отдать всю кровь мою на поруки, но кто мог бы поручиться за вас, Егор Ильич? Зная необузданное стремление страстей ваших, зная, что всем готовы пожертвовать ради минутного удовлетворения, я вдруг погрузился в бездну ужаса и опасений насчет судьбы наиболее благороднейшей из девиц...»¹. В этой главе Достоевский заставляет Фому Фомича цитировать еще и Шатобриана, комизма ради спутав его с Шекспиром, и даже пушкинского Ленского («Где, где она, моя невинность?.. где золотые дни мои?»). Цитирует Фома Фомич и Гоголя... Впрочем, дело не в пародийном цитировании того или иного автора, а в том, что в речи Фомы Опискина Достоевский сближает слова Петрарки² с лексикой и фразеологией того

¹ Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 3. Л., «Наука», 1972, с. 147.

² И напрасно комментатор новейшего академического издания Ф. М. Достоевского пытается в стихе, приписываемом Петрарке, вычитать цитату из III сонета «Канцоньере». Там такого стиха нет, как нет его и в других стихотворениях сборника. Слова Петрарки — мистификация Достоевского.

«темного и вялого» стиля, который, по ироническому замечанию Пушкина в «Евгении Онегине», «романтизмом мы зовем». Даже в пределах приведенного выше восклицания Фомы легко увидеть лексический и фразеологический букет «темного и вялого» письма, пародируемого Достоевским стилем: «нежное чувство», «вешнюю розу», «вздохи», «стоны», «чистую, как жемчужина, девицу», «необузданные страсти», «бездну ужаса», «невинность» (словцо, десятикратно обыгранное и, видимо, очень смешившее Достоевского). Сочетание на этих страницах имен Шатобриана (Шекспира) и Ленского удивления не вызывает. Имя Шекспира было начертано на знаменах романтиков буквально всех оттенков. Ленский же — это пародия в пародии, прямая апелляция Достоевского к Пушкину, в котором он усмотрел своего единомышленника в данном вопросе. Но как возник в этой компании Петрарка?

Обращаясь к широкому читателю, Достоевский не стал бы строить пародийную речь Фомы на чем-то этому читателю неизвестном, рассчитывать на его знакомство с Петраркой по пусть популярным тогда в образованной среде французским работам Сисмонди или Жангенэ или немецким переводам А.-В. Шлегеля. Логичнее предположить, что знакомство русского читателя с Петраркой уже состоялось и знакомство это было определенным, вполне в духе того сентиментально романтического стиля, который Достоевский положил в основу речевой характеристики Фомы.

Это знакомство читающей русской публики с Петраркой произошло лет за тридцать до того, как Достоевский обдумал своего Фому Фомича. Начало ему положил известный поэт Константин Батюшков, едва ли не первый итальянист в России, автор статей о Петрарке и Тассо. В начале восьмисотых годов он переводит один

из самых знаменитых петрарковских сонетов (CCLXIX) и пишет переложение канцоны I, названной им «Вечер». Вот этот сонет в переводе Батюшкова:

Колонна гордая! о лавр вечнозеленый!
Ты пал! — и я навек лишен твоих прохлад!
Ни там, где Инд течет, лучами опаленный,
Ни в холодном севере для сердца нет отрад!..

Все смерть похитила, все алчная пожрала,
Сокровище души, покой и радость с ним!
А ты, земля, вовек корысть не возвращала,
И мертвый нем лежит под камнем гробовым!

Все тщетно пред тобой: и власть и волхвованье —
Таков судьбы завет!.. Почто ж мне доле жить?..
Увы! Чтоб повторить в час полночи рыданья
И слезы вечные на холодный камень лить!

Как сладко, жизнь, твое для смертных обольщенье!
Я в будущем мое блаженство основал;
Там пристань видел я, покой и утешенье —
И все с Лаурою в минуту потерял.

Дело не в том, что Батюшков не соблюдает тут сонетной формы. Важнее то, что он прибавляет и как видоизменяет реальное содержание сонета. В тексте Батюшкова появляются «опаленные лучами», «холодный север», «алчная смерть», «гробовой камень», «полночные рыданья», «вечные слезы», «холодный камень», «сладостное обольщенье», «блаженство», «покой», «утешенье» — то есть лексика сентиментально-романтического плана. В переводе канцоны, которую по недостатку места не приводим, является тот же речевой набор, обязательный для «унылой» поэзии: «безмолвные стены», «задумчивая луна», «орошенные туманом пажити». Этот словарь находится в противоречии с возвышенной, но четкой лексикой и фразеологией петрарковских стихов: их окрашенность

контрастная, яркая, не размытая полутонами неясных чувств. Все это подменяется унылыми lamentациями у Батюшкова. Но именно таким пожелал видеть и увидел Петрарку романтический век.

В значительной степени продолжателем романтической традиции в трактовке Петрарки, только в еще более сгущенном виде, без отрезвляющего батюшковского классицизма, выступил русский поэт двадцатых — тридцатых годов Иван Козлов. Кстати, он перевел тот же CCLXIX сонет, что и Батюшков, добавив к нему еще два четверостишия четырехстопного ямба, а заодно и «мечтание души», «томление», «бурное море», «восточный жемчуг», «тоску», «утрату сердца», «страдание», «слезы» и «обманчивую красу». Козлов же переложил еще один сонет Петрарки в стансы. Начинается он так:

Тоскуя о подруге милой
Иль, может быть, лишен детей,
Осиротелый и унылый
Поет и стонет соловей.

Такое сентиментально-романсовое исполнение Петрарки не опровергается и уже собственно переводом двух других сонетов Петрарки (CLIX и CCCII), сделанных И. Козловым на этот раз шестистопным ямбом, имитирующим плавный французский александрийский стих, и с соблюдением сонетной строфической формы:

В какой стране небес, какими образцами
Природа, оживясь, умела нам создать
Прелестный образ тот, которым доказать
Свою хотела власть и в небе и меж нами?

Богиня где в лесах иль нимфа над волнами,
Чьи локоны могли б так золотом блистать?
Чье сердце добротой так может удивлять?
Хотя мой век оно усеяло бедами.

Мечтатель, пламенный еще, не встретясь с ней,
Божественных красот все прелести не знает,
Ни томного огня пленительных очей;

Не знает, как любовь крушит и исцеляет,—
Кто звука не слышал живых ее речей,
Не зная, как она смеется и вздыхает.

(Сонет CLIX)

или:

Я к той был увлечен таинственной мечтою,
Которую ищу напрасно на земле,
И там, где горний мир, она предстала мне
И столь жестокою, еще светлей красою.

И молвила она, держа меня рукою:
«Хочу, чтоб был со мной в надзвездной ты стране;
Я дух крушила твой любви в тревожном сне,
И прежде вечера мой день был кончен мною.

Блаженству дивному как быть изъяснену!
Тебя жду одного и чем тебя пленяла —
Мою прекрасную земную пелену».

Увы! Зачем она речей не продолжала
И руку отняла! — мне, ими прельщenu,
Уж мнилось, что душа на небе обитала.

(Сонет CCCII)

Фразеология характерная и для оригинальных стихотворений Козлова (см., например, «Первое свидание», посвященное графине М. Потоцкой, или «Послания» к графине Фикельмон и ее дочери). Там мы тоже найдем и многократно повторенные «невинности», и «чистоту», и «жемчуг», и «необузданные страсти», и «вздохи», и «стоны» — словом, все то, что так точно уловил цепкий слух Достоевского.

Совершенно очевидно, что Петрарка был прочитан как «свой», вполне романтический поэт. «Болезнь века» была

привита Петрарке. Впрочем, это и понятно. Новые направления, новые литературные школы всегда подыскивают себе «благородных родителей», вычерчивают себе достойное генеалогическое древо. Петрарка попал в выдуманную родословную романтиков. Между тем петрарковское недовольство собой, его *acidia* и лежащая в основе «Канцоньере» контрверза между влечениями сердца и нравственными абсолютами, земным и надмирным, страстным стремлением к жизни, полной деятельности и любви, и возвышенными помыслами о вечном — не имеют ничего общего с «болезнью века», разочарованностью и инертностью.

Русских поэтов привлекли лишь некоторые мотивы, которые они, произвольно изъяв из общего художественного контекста, вычитали у Петрарки. Так, вычитали они мотив «поэта-затворника», мотив мирной сельской жизни в противовес суетной городской. Лирику Петрарки прочитали как свою «вздохательную» (определение Батюшкова). Кстати, в этой связи Н. В. Фридман, автор интересной книги о Батюшкове, замечает: «Однако прославление платонической любви у Петрарки, в общем, противоречило «земному» мироощущению Батюшкова. Вероятно, именно поэтому оба его перевода из Петрарки не принадлежали к числу его лучших художественных достижений...»¹ Дело, однако, тут вовсе не в противоречии между «земным» Батюшковым и «платоническим» Петраркой, а в том, что Батюшков приписал Петрарке свою «вздохательную» любовь со всеми вытекающими отсюда для перевода последствиями. Такой «вздохательный» Петрарка и попал на зуб Достоевскому.

¹ Н. В. Фридман. Поэзия Батюшкова. М., «Наука», 1971, с. 126.

Вторая половина XIX века изобилует переводами из «Канцоньере». Этому способствовало как развитие филологической науки в целом, так и русской италянистики в частности. Научный и просветительски-популяризаторский подход наложил на новые переводы определенный отпечаток. С точки зрения буквы они стали точнее, быть может, формально строже, но при этом они стали несомненно, «бездушнее», то есть они приобрели культурно-информационный характер, в сущности не связанный с потребностями живой русской поэзии. За исключением, пожалуй, единичных удач, от них веет холодом и какой-то вневременной бесстильностью. Чем иначе, например, можно объяснить появление в переводе умелого литератора В. Буренина такого стиха: «Купаяся в ручье прозрачнее стекла...» Петрарка мог сравнить родниковую воду с чем угодно, но только не со стеклом. Возможно, что это небрежность, а скорее всего, отсутствие определенного вкуса, какая-то поэтическая всеядность. Словом, если мы имели право говорить в свое время о Петрарке Батюшкова и Козлова (как бы мало они ни перевели), то нет Петрарки Буренина, Михайловой, Берга или Мина. Наступила пора, когда другие западные имена стали волновать слух русских поэтов. А Петрарка достался в удел популяризаторам. Их заслуга исключительно в ознакомлении все более широкого круга читателей с содержанием петрарковских стихов. С поэтической точки зрения переводы Петрарки тех лет страдают эклектичностью. «Сладостные вздохи» соседствуют там со «стеклянными ручьями». Сентиментализм карамзинской эпохи стал причудливо сочетаться с техническим и научным прогрессом.

Принципиально новую страницу в истории русского Петрарки открывает XX век. Связана она с русским сим-

волизмом, с одним из его вождей Вячеславом Ивановым. Начало XX века вообще было ознаменовано повышенным интересом к Италии, итальянской культуре (особенно эпохи Возрождения). В яростных спорах, которые велись в ту напряженную эпоху первой русской революции вокруг исторического будущего России, вокруг судеб русской и европейской культуры, Италия занимала особое место. Ее исторический опыт, роль в становлении европейской культуры нового времени находились в центре внимания наших историков, поэтов. Русские журналы пестрят материалами по Италии. Одна за другой выходят книги по истории Италии, ее искусству, литературе. Множатся переводы. У крупнейших наших поэтов, начиная с Блока, появляются «итальянские циклы». Шестисотлетие со дня рождения Петрарки, отмечавшееся в 1904 году, усиливает внимание к творчеству Петрарки. В 1905 году выходит из печати выдающийся труд о Петрарке академика А. Н. Веселовского, положивший начало новому, подлинно научному пониманию «Канцоньере». На этом фоне появляется совместная работа М. Гершензона и Вяч. Иванова «Автобиография, Исповедь и избранные сонеты Петрарки», в которой М. Гершензону принадлежит статья и перевод петрарковской автобиографической прозы, а Вяч. Иванову вся стихотворная часть. Переводы Иванова явились откровением. О них говорили, о них спорили, ими восторгались, на них нападали. Они были восприняты не просто как крупное культурное событие, но прежде всего как литературный факт, сближающий поиски сторонников «нового искусства» с великим опытом прошлого. Символисты ничуть не меньше романтиков оказались заинтересованными в установлении добротной родословной. Успеху Вяч. Иванова как переводчика Петрарки способствовало то, что он первым из крупных русских литераторов подошел к Петрарке не

«вдруг», а во всеоружии основательнейших филологических и историко-культурных познаний, оставаясь при этом изрядным стихотворцем. Мало того, подчиняя задачи перевода не просто познавательным целям, но насущным потребностям живой отечественной литературы. Отсюда и споры вокруг его переводов, которые справедливо были расценены прежде всего как факт русской поэзии. Это одна сторона дела. Другая заключается в собственно переводческих задачах, которые ставил перед собой Вяч. Иванов. В самом деле, как, например, воссоздать ту ориентированность петрарковских стихотворений на античность или недавнее для них прошлое, которая выразилась в откровенной цитатности или в неприкрытых реминисценциях (Вергилий, Данте)? «Инкрустировать» перевод Петрарки переводами цитируемых им поэтов невозможно по той простой причине, что уху современного русского читателя это решительно ничего не даст. У Петрарки был другой, современный ему читатель, который не нуждался в пояснениях. Потому-то Вяч. Иванов и попытался передать эту известную книжность подлинника стилистическими средствами, используя временной исторический привкус тех или иных слов и сочетаний. Понятно, что в ряде случаев он мог ошибиться, нарушить дозировку, излишне увлечься, впадая подчас в чрезмерную архаизацию. Но тут уж неизбежно сказывалась «пышность и нарядность» его собственной стилистически барочной мысли и речи, тяготеющей в своей русской сущности к древнеславянской витиеватой тяжеловесности. Это свойство ивановского языка отмечали многие ивановские современники и, в частности, постоянный его оппонент И. А. Бунин, неоднократно сетовавший на пристрастие Иванова к «старинным и семинарским словам» в его собственной оригинальной поэзии. В переводе сонетов Петрарки и в самом деле много всяких

«оных» («оный день», «в оны лета»), встречаются и пышные барочные «ковы» со «славами», и «склонение чела», и «богоявленный свет», и многозначительные заглавные буквы в таких словах, как «Идея», «Смерть», «Чистота», «Душа», «Солнце», «Природа-Мать», и усложненный порой синтаксис, и нарочито введенные кальки, имитирующие латинизацию некоторых синтаксических ходов петрарковского оригинала. Так или иначе, но главное в том, что ивановские архаизмы не припорошивали Петрарку архивной пылью, но, напротив, приближали его к тому уровню поэтического сознания, которое было свойственно не только индивидуальности переводчика, но и его времени. Вяч. Иванову удалось то, что не удалось сделать никому из его даже самых сильных предшественников: воссоздать — при всех неизбежных потерях — поэтическую систему петрарковского сонета, ее стилистическую многослойность. Романтики делали Петрарку своим. Те из переводчиков конца позитивистского XIX века, кто особенно радел о платонизме петрарковской любви, усматривали в Лауре едва ли не Дульсинею Тобосскую, плод чистого воображения. Вяч. Иванов, вернув Петрарку в треченто, сумел внушить русскому читателю живой к нему интерес и веру в реальность печальной повести о Лауре и Франческо.

После Вяч. Иванова уже нельзя переводить Петрарку так, как переводили до него. Это очевидно при любой оценке частностей его огромной работы.

Путь, проторенный Вяч. Ивановым, оказался соблазнительным. По нему пошли, в сущности, почти все, кто брался за переводы Петрарки. Оговорка «почти» относится лишь к тем случайным обращениям к Петрарке, которые, понятно, в счет не идут, порой даже при относительных успехах. Из переводчиков нашего времени больше и дольше других работал над Петраркой

А. М. Эфрос. Ему принадлежит честь издания наиболее объемистого русского «Канцоньере». У А. Эфроса было много данных, чтобы переводить Петрарку: эрудиция, глубокая начитанность в итальянской литературе, великолепное знание культуры Возрождения, прекрасное знание итальянского языка. Со всем тем, нового слова он так и не сказал. Как переводчик он шел за Вяч. Ивановым (споря лишь в толкованиях частных). Ради соблюдения условий стиха ему приходилось порою жертвовать петрарковской легкостью и изяществом. Строки вроде: «Когда в кругу окрестных донн подчас // Вдруг лик Любви в ее чертах проглянет...» — говорят сами за себя. Инверсии, громоздкие словосочетания у А. Эфроса — не результат продуманной системы, а следствие непреодоленного сопротивления стихового материала.

Из старшего поколения наших поэтов-современников, пожалуй, особняком стоит работа над Петраркой ученика академика Веселовского и поэтического сподвижника Блока, покойного ныне Ю. Н. Верховского. Первые опыты переводов Петрарки у него вышли еще до революции, под непосредственным контролем А. Н. Веселовского. Работа растянулась на несколько десятилетий. Всего им переведено около сорока стихотворных пьес Петрарки. Думается, что произошел довольно редкий случай, когда длительная работа, правда с большими перерывами, пошла не на пользу делу. Безукоризненный по звучанию стих Верховского обидно «нейтрален» к материалу. И потому его очень легкие в чтении переводы Петрарки ли, Боккаччо или европейских «петраркистов» звучат совершенно одномерно. Есть в его переводе общее с Вяч. Ивановым, но это общее — налет времени, а не индивидуальности, то есть своего рода налет «переводческого петраркизма».

Обращались к Петрарке такие большие поэты, как Иван Бунин, Валерий Брюсов и Осип Мандельштам. Но это были не более чем первые «прикидки». Принципиального значения в истории русского Петрарки они не сыграли.

Таким образом и по сей день в столетиями жизни Петрарки в русской поэзии наиболее примечательными эпизодами остаются два: первый связан с периодом русского романтизма, второй — со спорами о «новом искусстве». В обоих случаях русский Петрарка оказался живым участником этих литературных схваток. Все другие факты из жизни Петрарки в России относятся не столько к истории русской поэзии, сколько к истории нашей культуры. Есть, однако, основания полагать, что мы находимся на пороге еще одного принципиально нового этапа приобщения Петрарки к нашей словесности. В настоящее время над переводами Петрарки работает многочисленная группа талантливых поэтов-переводчиков, способных сказать свое новое слово.

Н. Томашевский



Примечания

ПИСЬМО К ПОТОМКАМ

Свои «Старческие письма» («*Regum senilium libri*», 1366) Петрарка предполагал завершить автобиографическим письмом, обращенным к потомкам. Письмо осталось в наброске, который ученики и почитатели Петрарки не решились включить в его собрание «Старческих писем». В последующие времена набросок Петрарки, подвергнувшись порой весьма произвольным исправлениям, был опубликован (XVI в.). Но только уже в XX веке стараниями ряда ученых текст петрарковского письма был освобожден от всевозможных наслоений и опубликован в более или менее его первоизданном виде («*Prose petrarchesche*» a cura di P. G. Ricci, Milano—Napoli, 1955). Текст этот воспроизведен в издании: «*Opere di Fr. Petrarca*» a cura di E. Bigi. U. Mursia edit., Milano, 1968, по которому велась подготовка настоящего русского издания. Тем не менее в истории и датировке написания «Писем» остается еще очень много неясностей. Достаточно сказать, что ряд серьезных ученых полагает, что письмо было написано в 1370—1371 годах, другие же

относят время написания к 1351 году, объясняя наличие в нем сведений о событиях более поздних домыслами издателей. П. Риччи пытается примирить эти две точки зрения, относя петрарковскую основу ко времени до 1367 года, а к 1370—1371 — только его же позднейшие вставки.

Публикуемый перевод М. Гершензона (впервые напечатан в 1915 г.) подвергся в настоящем издании правке лишь в той степени, которая явилась неизбежной при сличении его с более точным текстом оригинала, недоступным покойному переводчику.

Стр. 9. *Род мой (как сказал о себе кесарь Август) — древний.*— Так сообщает Светоний в «Жизни двенадцати цезарей» (книга 2, «Божеств. Август»).

Стр. 10. *...последователи Апиция с их изысканными обедами.*— Целий Апиций, знаменитый гурман времен Тиберия. Ему приписывается «Кулинарный сборник» («De re coquinaria»).

Стр. 11. *В юности страдал я... не погасила уже гаснущее пламя.*— Под «юностью» Петрарка имел в виду возраст между «детством» и «зрелостью», то есть от 17 до 30 лет. Стало быть, «жгучая любовь» к Лауре продолжалась до 1333 г., когда он совершил первое «бегство» из Авиньона (Петрарка пожелал объяснить свое путешествие по Западной Европе в 1333 г. «гаснущим пламенем» любви, вступая тут в очевидное противоречие с содержанием «Канцоньере»). Любовь эта совсем «погасла» в 1348 г. со смертью Лауры. Комментаторы усматривают в этом пассаже некоторую нарочитость, желание Петрарки «покрасоваться» перед потомками своей моральной чистотой.

...приближаясь к сороковому году... и далее до конца фразы.— Петрарка слегка преувеличивает моральную

свою стойкость. В письмах 1351 и 1352 гг. он еще сетует на то, что никак не может полностью избавиться от плотских вожделений.

Стр. 13. *...увлеченный священной наукою...*— На 1346—1347 гг. падает особенное увлечение Петрарки библейскими и христианскими текстами.

Стр. 14. *...шесть следующих — в Анцизе...* — то есть в Инцизе, где Петрарка прожил с 1305 по 1311 г.

...Урбан V, казалось, вернул ее на ее законное место...— Скорее всего, позднейшая вставка. Папа Урбан V вернулся в Рим из Авиньона в 1367 г. и снова отбыл туда в 1370-м.

Стр. 15. *...оставил славное свое намерение вместе с жизнью.*— Урбан V умер 19 декабря 1370 г. Выше Петрарка говорит о своих «попреках» Урбану за намерение оставить Италию. Речь идет о «Письмах к разным лицам» («*Vagia*»), где Петрарка об этом пишет.

...потом в Болонью, где в продолжение трех лет...— На самом деле Петрарка пробыл в Болонье с 1320 по 1326 г. «Три года» надо понимать в том смысле, что Петрарка «проучился» там три года, ибо тамошний университет был на некоторое время закрыт.

Стр. 16—17. *...увез меня в Гасконь, где... я провел почти неземное лето...*— См. соответствующий сонет на с. 252.

Стр. 18. *...долину, которая зовется Запертою...*— то есть Воклюз.

...в исполнении оказывались трудными...— Речь идет, видимо, об «Африке», над которой Петрарка продолжал работу еще в 50-ые годы.

Стр. 22. *Об этом событии существуют и письма мои...*— «Стихотворные послания» (II); «Письма к друзьям» (IV).

Стр. 23. ...к источнику Сорги, в мое заальпийское уединение...— Второй петрарковский «воклюзский период» длился с весны 1342 по сентябрь 1343 г.

...благоволение Джакомо Каррара-младшего...— Властитель Падуи до 1350 г., когда был убит.

Стр. 24. ...наследовал его сын, муж редкого ума...— Франческо де Каррара, которому Петрарка посвятил в 1373 г. одно из «Старческих писем» (XIV).

...переменою места утишить мою тоску.— Вполне вероятно, что это место навеяно чтением Данте («Чистилище», VI, 148—151).

МОЯ ТАЙНА,
ИЛИ
КНИГА БЕСЕД О ПРЕЗРЕНИИ К МИРУ

«Книга бесед» («De secreto conflictu curarum mearum»), чаще именуемая просто «Моей тайной», не предполагалась ее автором к широкому распространению. Написана она была в Воклюзе в 1342—1343 годах в период наибольших душевных смятений Петрарки. В 1353—1358 годах в Милане Петрарка еще раз просмотрел и подправил свою рукопись.

Книга является одним из замечательнейших литературных памятников, лежащих у истоков литературы европейского Возрождения. Она замечательна как по своей психологической проницательности, так и по глубине морально-этических проблем, в ней затрагиваемых. Блистательная эрудиция — не без некоторого даже щегольства — не помешала ни искренности тона, ни простоте изложения. Книга построена в форме диалога, который ведут в присутствии молчаливой Истины Франциск (Петрарка) и Августин Блаженный. Нечего и говорить, что этот диалог литературный прием, что это даже не воображаемый разговор ученика и учителя, правого и непра-

вого, а скорее, беседа человека со своим «двойником», спор между сознанием и чувством. Впрочем, нельзя не признать, что в обрисовке двух «спорящих» есть определенные черты индивидуализации, что-то похожее на «характеры» (недовольный собой, зачастую упрямый Франциск и умудренный, готовый понять заблудшего собеседника, но твердый Августин). Книга состоит из трех Бесед. При всей внешней непринужденности и как бы даже произвольности разговора, она имеет четкое тематическое разделение: Беседа первая посвящена выяснению того, каким образом безволие Франциска привело к душевным блужданиям. В этой Беседе утверждается тезис о том, что в основе человеческого счастья и несчастья (понимаемого в моральном смысле) лежит собственная свободная воля человека. Беседа вторая посвящена разбору слабостей Франциска, исходя из представления о семи смертных грехах. Беседа третья касается двух наиболее укоренившихся в душе Петрарки слабостей: любви к Лауре и его славолубия. В этом вопросе спор становится наиболее острым. Петрарка оправдывает свою любовь к Лауре тем, что именно она помогла и помогает ему избавиться от земных слабостей, именно она возвышает его (такое толкование любви к Лауре лежит в основе второй части «Канцоньере»). Что касается славолубия, то Петрарка оправдывается тем, что любовь к знанию должна поощряться и заслуживать всяческого человеческого признания. (Любопытно, кстати, что век спустя гуманисты признают эту тягу достойной даже божественного признания.) Петрарка упорно отстаивает эти две свои страсти, видя в них смысл существования. Примирение между высшими моральными требованиями и необходимостью активной земной деятельности — смысл предлагаемого Петраркой компромисса. Августин вынужден не то чтобы уступить, но, во всяком случае, признать

невозможность моментального и полного «обращения». Таким образом, вплоть до выработки иной шкалы человеческих ценностей, когда возвышенная любовь и стремление к активной человеческой деятельности и знанию смогут быть примирены с категориями морального абсолюта, окончательное решение начатого спора откладывается. Этот спор предстояло решить уже наследникам Петрарки, и решить в его пользу.

Работа по подготовке русского текста (перевод М. Гершензона) для настоящего издания велась по изданию: «Opere di Fr. Petrarca» a cura di E. Bigi. U. Mursia edit., Milano, 1968.

Вступ л е н и е

Стр. 26. *Как величать тебя, дева?* — Вергилий, «Энеида» (I, 327—8).

...не уступая диркейскому Амфиону... — Амфион, сын Зевса и фиванской царевны Антиопы. Когда Амфион со своим братом Зетом решил обнести Фивы стенами, камни сами укладывались под звуки волшебной кифары, на которой играл Амфион.

...ее дворец на вершине Атласа я описал. — На самом деле в петрарковской поэме «Африка» нет никакого описания «дворца Истины». Вероятно, у Петрарки было только намерение сделать такое описание.

Стр. 27. *...преславного отца Августина.* — Петрарка необыкновенно высоко ценил труды Блаженного Августина. Христианское учение Августина было свободно от жесткого схоластического схематизма средневекового богословия с его специальным искусственным языком.

Стр. 30 *...как говорит Туллий...* — Цицерон, «О дружбе» (I).

Беседа первая

Стр. 38. ...доказали и Марк Туллий...— Тезис о самодостаточности добродетели был развит Цицероном в «Тускуланских беседах».

...известный стих поэта...— Вергилий, «Энеида» (IX, 641).

Стр. 48. ...спасительной смоковницы, в тени которой...— Августин. «Исповедь» (VIII, 12).

...удостоился носить венок...— Речь идет об увенчании Петрарки лавровым венком в Риме.

...стих Вергилия...— «Энеида» (IV, 449).

Стр. 49. ...по словам одного великого ученого...— Имеется в виду Публий Сиро.

Стр. 51. ...стих Овидия? — «Послания с Понта» («Ex Ponto») (III).

Стр. 55. Я знаю эту истину.— Петрарка был знаком с этими мыслями Платона в изложении Цицерона.

Стр. 59. ...говорит Флакк...— Горацій, «Послания» (I).

Стр. 60. ...при погребении Юлия Цезаря? — Светоний, «Жизнь двенадцати цезарей». Петрарка имеет в виду те эпизоды, в которых повествуется о всякого рода бесчинствах римской толпы после смерти Юлия Цезаря.

Стр. 69. Сильный, исхитить из сих бедствий меня...— Вергилий, «Энеида» (VI, 365).

Стр. 72. ...как говорит Цицерон...— На самом деле слова эти принадлежат Сенеке.

...слова поэта...— Вергилий, «Энеида» (X, 549).

Стр. 73. Чудовищу ли я доверюсь? — Вергилий, «Энеида» (V, 849).

Стр. 76. Дышит мощь огневая...— Вергилий. «Энеида» (VI, 730—734).

Стр. 77. ...сочинении об Истинной вере...— Речь идет о трактате Блаженного Августина «Об Истинной вере».

Беседа вторая

Стр. 83. ...любезного тебе поэта...— Вергилий, «Энеида» (VIII, 385—386).

Стр. 88. *И не видишь опасностей, окружающих тебя...*— Вергилий, «Энеида» (IV, 561).

Стр. 89. ...слова сатирика...— Ювенал, «Сатиры» (X).

Стр. 91. ...жаловался в одном письме!— Петрарка, «Стихотворные послания» (I).

...прав император Домициан...— Светоний, «Жизнь двенадцати цезарей».

Стр. 92. ...известные слова философа...— Сенека, «Послание» (65).

Стр. 93. ...в твоей «Африке»... слова...— «Африка» (I, 329—330).

Стр. 96. ...прав был сатирик, сказав...— Ювенал, «Сатиры» (I).

...слова комика...— Теренций, «Андрия».

Жизни размеренный срок...— Гораций, «Песни» (I).

Стр. 97. *Был бы лишь книг хороший запас...*— Гораций, «Послания» (I).

...обеспечить себе старость приличную...— Гораций, «Песни» (I).

Что мне богатства твои...— Ювенал, «Сатиры» (XIV).

Стр. 98. ...в словах поэта...— Вергилий, «Энеида» (III, 649—650).

...по оценке толпы ты никогда не сможешь...— Суждение Эпикура, дошедшее в изложении Сенеки («Послание», 16).

Стр. 99. *Вергилий говорит...*— Вергилий, «Георгики» (IV, 130—131).

Стр. 101. *...стих Вергилия.*— Вергилий, «Георгики» (I, 186).

...слов сатирика.— Ювенал, «Сатиры» (VI).

Стр. 102. *Для поддержания человеческой жизни...*— Сенека, «Послание» (25).

Стр. 104. *Жадный беден всегда...*— Гораций, «Послания» (I).

Стр. 110. *...как говорит Цицерон...*— «О старости» (II).

Стр. 111. *...но ты стремишься по окольной тропинке...*— Любопытное суровое самоосуждение Петрарки за мнимое единенную жизнь.

Стр. 112. *...совет Горация...*— Гораций, «Послания» (V).

Стр. 113. *Перипатетики* — ученики и последователи Аристотеля.

Стр. 114. *...внезапный отъезд наставника...*— Летом 1342 г. Петрарка начал изучать греческий язык под руководством монаха Варлаама. Но вскоре тот был переведен в другую епархию.

Стр. 120. *Кто той ночи расскажет побоище?* — Вергилий, «Энеида» (II, 361—369).

Грозные лики очам предстоят...— Вергилий, «Энеида» (II, 622—623).

Стр. 132. *...сколь многих ты опередил...*— Сенека, «Послание» (15).

Стр. 133. *...слова Горация...*— Гораций, «Песни» (II).

Стр. 134. *...как говорит Туллий...*— Цицерон, «Тускуланские беседы».

Стр. 135. *...словами того же Горация...*— Гораций, «Послания» (I).

Стр. 140. *Вот тут и вздумай сложить втихомолку...*— Гораций, «Послания» (II).

Хором хвалят поэты леса...— Там же.

Музам дубрава мила...— Петрарка, «Стихотворные послания» (II).

..письмо Сенеки об этом предмете...— Эту мысль Петрарка развил более подробно в своем трактате «Об уединенной жизни».

Стр. 143. *Материк, и моря, и глубокое небо...*— Вергилий, «Энеида» (I, 58—59).

Дышит мощь огневая...— Вергилий, «Энеида» (VI, 730).

Стр. 144. *Там царь Эол...*— Вергилий, «Энеида» (I, 52—57).

Стр. 145. *...говорит Туллий...*— Цицерон, «Тускуланские беседы».

Стр. 147. *...греческий поэт и наш сильно расходятся на этот счет.*— Речь идет о сравнении Гомера и Вергилия.

Саллюстий Крисп...— Саллюстий, «Заговор Катилины».

Стр. 148. *Нечетное богу угодно.*— Вергилий, «Буколики» (VIII).

Беседа третья

Стр. 150. *...двумя алмазовыми цепями...*— Две цепи: это страсть Петрарки к Лауре и любовь к славе.

...для дробления алмазов нужна... кровь козла...— Об этом удивительном способе рассказывает Плиний Старший.

...так для смягчения жестокости...— Имеется в виду кровь Христа.

Стр. 158. *Смертными женщинами были и Фаида и Ливия...*— Фаида — персонаж комедии Теренция «Евну-

хи». Ливия — жена Августа, знаменитая своим честолюбием.

Так-то ты уже шестнадцатый год...— Петрарка впервые увидел и влюбился в Лауру 6 апреля 1327 г. Стало быть, данная воображаемая Беседа происходит в 1342—1343 гг.

Стр. 159. *...когда ты увидишь ее лицо, искаженное смертью...*— Петрарка, «Стихотворные послания» (I).

Стр. 160. *...ты сложил погребальную песнь...*— Возможно, что речь идет об элегии «Сладостный лавр» («*Laugus amena*»).

Стр. 161. *Сладостной жизни не знавших...*— Вергилий, «Энеида» (VI, 428—429).

...вспоминаю стих Овидия... — «Метаморфозы» (XV).

Стр. 163. *...по примеру Лелия, мудрейшего из римлян...*— Петрарка имеет в виду эпизод из трактата Цицерона «О дружбе».

...Феба ль сестра...— Вергилий, «Энеида» (I, 328).

Стр. 164. *...ответить тебе словами Туллия...*— Цицерон, «Тускуланские беседы».

Стр. 165. *Своя у каждого невеста...*— Стихи некоего Атилия, автора комедии, которого поносил Цицерон («К Аттику», XIV, 20). Именно эта часть цицероновского текста была обнаружена Петраркой в Вероне.

Сами влюбленные ткут из желаня сонную грезу? — Вергилий, «Буколики» (VIII).

Стр. 174. *Что учение о пифагорейской букве...*— Пифагорейская буква «у» рассматривалась в средние века как символ человеческой жизни, в которой с детства открываются две дороги: добродетели и наслаждения.

Стр. 175. *Вот и распутье...*— Вергилий, «Энеида» (VI, 540—543).

Стр. 176. *Глянула — и обомлела, дивясь...*— Вергилий, «Энеида» (I, 613).

Хотя весь этот рассказ... вымышлен...— О вымышленности рассказа Вергилия говорил Августин в своей «Исповеди».

Стр. 180. *...из всех душевных страстей, бесспорно, ни одна не лютее любви...*— «Тускуланские беседы».

...словами Гомера...— Следуют два стиха из «Илиады» (VI, 201—202), приводимые Петrarкой в изложении Цицерона.

Стр. 181. *...ты добыл себе его изображение...*— Речь идет об изображении Лауры работы Симоне Мартини, сделанной по заказу Петрарки.

Стр. 182. *...обитал близ вод Пеней...*— Пеней, бог реки в Фессалии и отец Дафны; *Кирра* — высочайшая вершина Парнаса, посвященная Аполлону.

...прелщало твой дух уже в отроческие годы...— Подразумевается коронование Петрарки лавровым венком в Риме (1341 г.).

Стр. 185. *...по словам Цицерона...*— «Тускуланские беседы».

Стр. 186. *...знаток в деле любви, Овидий...*— Далее цитируется стих из «Remedia amoris» («Лекарство от любви»).

Так, говорят, Ганг был разделен...— Имеется в виду рассказ Геродота, повторенный Сенекой. На самом же деле Геродот писал вовсе не про Ганг, а про Гинд. Возможно, что Петрарка, не знавший Геродота, пользовался дефектным списком Сенеки.

Стр. 188. *Долов любезных беги...*— Вергилий, «Энеида» (III, 44).

Как говорит тот же Цицерон...— «Тускуланские беседы».

Стр. 189. ...Вергилиево уподобление.— «Энеида» (IV, 69—73).

Это потому, что ты путешествовал с собою.— Петрарка цитирует это по Сенеке, «Послание» (104).

Стр. 190. Флакк был прав...— Гораций, «Послания» (I).

Стр. 191. Я и здесь возьму в свидетели Флакка...— Там же.

Стр. 195. Легко нисхождение к Аверну...— Вергилий, «Энеида» (VI, 126—127).

Стр. 197. Смысл этих слов великого поэта...— Вергилий, «Георгики» (II, 136—139).

...поэме, обращенной к одному из твоих друзей.— Речь идет о стихотворном послании Петрарки к кардиналу Альдобрандини.

Стр. 198. Бойтесь уединенья, влюбленные! — Овидий, «Лекарство от любви» (579—580).

Стр. 199. ...особенно же в той поэме...— Речь идет о «Стихотворном послании» Петрарки (I).

...слова Платона... слова Аристотеля...— В первом случае из диалога Платона «Федр», во втором — из «Поэтики» Аристотеля.

Стр. 200. Есть три средства, говорит Цицерон...— «Тускуланские беседы».

Стр. 203. ...слова императора Домициана...— Светоний, «Жизнь двенадцати цезарей».

Стр. 204. ...ты, вероятно, сослался бы на Юлия Цезаря.— Из книги Светония известно, что Цезарь был плешив.

Стр. 207. Ты столь недавно родился...— Овидий, «Метаморфозы» (X).

...В час, когда конь роковой...— Вергилий, «Энеида» (VI, 515—516).

...Вниз по веревке спустясь...— Вергилий, «Энеида» (II, 265).

Стр. 208. Вянет юность...— Ювенал, «Сатиры» (X).

Стр. 209. Труд великий— стоять у славы великой на страже.— Стих из «Стихотворных посланий» (II), повторенный Петраркой в «Африке» (VII, 292).

...вспомни, что написано в «Questionibus naturalibus» — труд Сенеки «Естественнонаучные вопросы», который Петрарка цитирует не дословно.

Стр. 210. ...слова Юлии, дочери кесаря Августа...— анекдот, рассказанный римским историком Макробием.

Стр. 211. ...по мнению Цицерона...— «Тускуланские беседы».

Стр. 212. Мысли на каждом рассвете...— Гораций, «Послания» (I).

Стр. 216. ...как в одном месте утверждает Марк Туллий или как он же говорит в другом...— В первом случае в речи «В защиту Марцелла», во втором — «Тускуланские беседы».

Стр. 218. «Стыдно мужу искать цветочков...» — Сенека, «Послание» (33).

Стр. 219. ...ты предпринял написать историю от царя Ромула...— Речь идет о книге «Жизнь знаменитых мужей», которую Петрарка начал писать в 1338 г.

Стр. 220. ...она некогда была трижды сильно обожжена...— намек на три войны против Карфагена.

Стр. 225. Вот слова Цицерона...— Цицерон, «О старости».

Жизни вчерашний итог...— Гораций, «Песни» (IV).

Стр. 229. Замкнута в тесных пределах Земля...— Петрарка, «Африка» (II, 361—362).

Стр. 230. ...по словам Ювенала...— «Сатиры» (X).

Вскоре поникнет курган...— Петрарка, «Африка» (II, 431—432).

Стр. 231. *Смертным быть надлежит всему, что напрасным усилием // Смертная мысль создала.*—Петрарка, «Африка» (II, 455—457).

Когда же и книги умрут...—Петрарка, «Африка» (II, 464—465).

Стр. 232. *...слава — как бы тень добродетели...*— Цицерон, «Тускуланские беседы».

Стр. 233. *...как сказано о М. Катоне...*— Саллюстий, «Заговор Катилины» (II).

Стр. 235. *Скоро небесный ущерб восполнят луны...*— Гораций, «Песни» (IV).

Стр. 236. *Все замечай светила...*— Вергилий, «Энеида» (III, 515).

...стих из «Георик»...— Вергилий, «Георгики» (II).

...твой собственный стишок...—Петрарка, «Стихотворные послания» (I).

Стр. 238. *«Мы все идем туда, это наш последний дом»...*— Овидий, «Метаморфозы» (X).

«Вся жизнь философа — помышление о смерти».— Цицерон, «Тускуланские беседы».

СОНЕТЫ НА ЖИЗНЬ И НА СМЕРТЬ МАДОННЫ ЛАУРЫ

«Канцоньере», или «Книга песен», из которой взяты публикуемые сонеты, является бесспорно *Главной* книгой Петрарки, хоть сам он (см. сонет CLXVI) считал свои итальянские стихотворения пустяками, увидившими в сторону от подлинно важных литературных свершений вроде его поэм и других стихотворных и прозаических сочинений, писанных по-латыни, кстати сказать, количественно превосходивших писанное по-итальянски в пятнадцать раз! Заблуждение, впрочем, нередкое даже у гениальных

писателей. Вспомним Сервантеса, ставившего «Дон-Кихота» куда ниже не сравнимого с ним «Персилеса».

Стихи на итальянском языке Петрарка начал писать смолоду, не придавая их широкой огласке. В пору работы над собранием своих латинских посланий, прозаических писем и началом составления будущего «Канцоньере» часть итальянских стихотворений Петрарка уничтожил, о чем он сообщает в одном письме 1350 года.

Первую попытку собрать воедино лучшее из своей итальянской лирики Петрарка предпринял в 1336—1338 годах, переписав 25 стихотворений в свод так называемых «набросков». В 1342—1347 годах Петрарка не просто переписал их в новый свод, но и придал им определенный порядок, оставив место для других, ранее написанных им стихотворений, подлежащих пересмотру. В сущности, это и есть *Первая редакция* будущего «Канцоньере», целиком подчиненная теме возвышенной любви и жажды поэтического бессмертия.

Вторая редакция осуществлена Петраркой между 1347 и 1350 годами. Во второй редакции намечается углубление религиозных мотивов, связанных с размышлениями о смерти и суетности жизни. Кроме того, тут впервые появляется разделение сборника на две части: «На жизнь мадонны Лауры» (начиная с сонета I, как и в окончательной редакции) и «На смерть мадонны Лауры» (начиная с канцоны CCLXIV, что также соответствует окончательной редакции). Вторая часть еще ничтожно мала по сравнению с первой.

Третья редакция осуществлена в 1351—1358 годах. В нее входит 171 стихотворение.

Четвертая редакция (1359—1362 гг.) включает уже 215 стихотворений, из которых 174 составляют первую часть и 41 — вторую. Время *Пятой редакции* — 1366—1367 годы; *Шестой редакции* — 1367—1372 годы.

Седьмая редакция, близкая к окончательной, которую автор отправил Пандольфо Малатесте в январе 1373 года, насчитывает уже 366 стихотворений (263 и 103 соответственно частям). *Восьмая редакция* — 1373 год и дополнение к рукописи, посланной Малатесте, — 1373—1374 годы.

Девятую, окончательную редакцию содержит так называемый Ватиканский кодекс (Cod. Vat. Lat.) под № 3195, частично автографический (1373—1374 гг.).

По этому Ватиканскому кодексу, опубликованному фототипическим способом в 1905 году, осуществляются все новейшие критические издания, включая издание: Fr. Petrarca, «Canzoniere», testo critico e introduzione di Gianfranco Contini. Einaudi ed., 1964.

В Ватиканском кодексе между первой и второй частью вшиты чистые листы, заставляющие предполагать, что автор намеревался включить в кодекс еще какие-то стихотворные пьесы. Разделение частей сохраняется: в первой — тема Лауры-Дафны (лавра), во второй — Лаура — вожатый Петрарки в небесные сферы, Лаура — ангел-хранитель, направляющий помыслы поэта к высшим целям.

В окончательную редакцию Петрарка включил и некоторые стихи отнюдь не любовного содержания: политические канцоны, сонеты против авиньонской курии, дружеские обращения к друзьям на различные моральные и житейские темы.

Весьма сложна проблема датировки многих стихотворений. Петрарка часто возвращался к ранее написанному даже целые десятилетия спустя. Этой чрезвычайно существенной для изучения творчества Петрарки теме посвящено много работ, среди которых особенно важны книги: E. H. Wilkins. The Making of the «Canzoniere». Roma, 1951 и H. Cochin. La cronologie du Canzoniere

de Pétrarque. Paris, Bouillon, 1898. На их данных основано большинство датировок, принятых в новейших изданиях петрарковского «Канцоньере».

В русской петраркистике укажем на две выдающиеся работы, не потерявшие значения и поныне: А. Н. Веселовский. Петрарка в его поэтической исповеди «Canzoniere». СПб., 1912, и Мих. Корелин. Ранний итальянский гуманизм и его историография, т. 2 (Франческо Петрарка. Его критики и биографы), изд. 2-е. СПб., 1914.

Русские переводы Петрарки (не считая отдельных переводов, разбросанных по различным повременным изданиям XIX и XX вв.) можно найти в следующих книгах: В. Р. Зотов. История всемирной литературы, т. 2. СПб., 1878, где содержатся переводы К. Батюшкова, И. Козлова, А. Майкова, В. Буренина, О. Михайловой и другие; П е т р а р к а. Избранные сонеты и канцоны в переводах русских писателей («Русская классная библиотека» под редакцией А. Н. Чудинова, выпуск XI). СПб., 1898; П е т р а р к а. Автобиография. Исповедь. Сонеты. Перевод М. Гершензона и Вяч. Иванова («Памятники мировой литературы»). М., 1915; «Поэты Возрождения в переводах Ю. Верховского» (37 сонетов, 4 канцоны, 1 секстина, 2 баллады и 2 мадригала). М., 1948; 2-ое изд.— 1955; П е т р а р к а. Избранная лирика. Перевод А. Эфроса. М., 1953; 2-ое изд.— 1955; Ф р а н ч е с к о П е т р а р к а. Книга песен (переводы К. Батюшкова, И. Козлова, В. Буренина, Д. Мина, О. Михайловой, И. Бунина, Вяч. Иванова, В. Брюсова, Ю. Верховского и А. Эфроса). М., 1963; Ф р а н ч е с к о П е т р а р к а. Избранная лирика. Перевод Е. Солоновича. М., 1970.

НА ЖИЗНЬ МАДОННЫ ЛАУРЫ

Стр. 245. Этот открывающий сборник сонет был написан, по-видимому, в 1347 г. для Второй редакции «Канцоньере»¹.

Стр. 246. Предположительная дата написания сонета — 1348—1349 гг., то есть уже после смерти Лауры.

Стр. 247. *Был день, в который, по Творце вселенной...*—Петрарка имеет в виду 6 апреля—день смерти Иисуса Христа. *Скорбя, померкло Солнце...*—Согласно преданиям, в день распятия Христа «померкло солнце». Встреча с Лаурой произошла, по словам Петрарки, в страстную пятницу в 1327 г.

Стр. 248. *Скромное селенье...*—Комон, где родилась Лаура.

Стр. 249. Сонет написан в так называемый авиньонский период (1327—1336 гг.).

Стр. 250. Дата написания сонета — авиньонский период 1327—1336 гг. *Но ты — иной...*—Петрарка обращается к какому-то своему другу, которого не пожелал называть.

Стр. 251. Сонет написан в те же годы, что и два предыдущих. Адресован другу при посылке ему фруктов.

Стр. 252. Сонет написан в Ломбезе весной 1330 года. *Колонна благородная...*—то есть Стефано Колонна (см. «Письмо к потомкам», с. 16—17). По содержанию своему сонет является приглашением посетить этот тихий уголок в Гасконии, где Петрарка гостил у епископа Джакомо. *Кого Юпитер...*—Под Юпитером подразумевается папа Бонифаций VIII, подвергший гонениям семейство Колонна.

¹ В тех случаях, когда дата создания сонета не установлена, это специально не оговаривается.

Стр. 253. Сонет авиньонского периода. ...вздохи поздние меня возглашают...— тема, подхваченная в сонетах СССХV и СССХVII.

Стр. 254. Сонет авиньонского периода.

Приводим этот же сонет в переводе Ив. Бунина (1896 г.):

Когда, как солнца луч, внезапно озаряет
Любовь ее лица спокойные черты,
Вся красота других, бледнея, исчезает
В сиянье радостном небесной красоты.

Смирясь, моя душа тогда благословляет
И первый день скорбей, и первые мечты,
И каждый час любви, что тихо подымает
Мой дух, мою любовь до светлой высоты.

Свет мысли неземной лишь от нее исходит.
Она того, кто вдаль последует за ней,
Ко благу высшему на небеса возводит

По правому пути, где нет людских страстей.
И, полон смелостью, любовью вдохновенный,
Стремлюсь и я за ней в надежде дерзновенной!

Любопытно, что наиболее точный русский эквивалент начала этого петрарковского сонета мы находим в концовке оригинального стихотворения Ив. Козлова «Первое свидание» («Графине М. А. Потоцкой»): «И ангел мне — предстал тобой».

Стр. 255. Сонет, вероятнее всего, написан в 1337 г.

Стр. 256. Сонет написан примерно в одно время с предыдущим. ...образ в Риме...— «нерукотворный лик» Христа в римском храме св. Петра. Согласно евангельскому рассказу, он запечатлен на платке, которым Святая Вероника вытерла пот с лица шедшего на казнь Христа.

Стр. 257. Сонет написан в конце 1336 — начале 1337 г.

Стр. 258. Сонет относится к авиньонскому периоду.

Стр. 259. Сонет написан в авиньонский период.

Стр. 260. Сонет относится к авиньонскому периоду.

В нем уже сказывается тот душевный кризис, который с такой силой отразился в «Моей тайне».

Стр. 261. Сонет написан, как и следующий (с. 262), до 16 ноября 1337 г. Этим сонетом открывалась Первая редакция «Канцоньере» 1342 г.

Стр. 263. Вероятнее всего, сонет написан в Риме весной 1337 г. *Я отложить пытался нашу встречу...*— то есть встречу с кардиналом Джованни Колонна, к которому обращен сонет. Свою нерешительность с отъездом Петрарка объясняет боязнью встречи Лауры.

Стр. 264. Сонет написан по случаю отъезда Лауры в июле 1336 г., когда случилась сильная гроза.

Стр. 265. Сонет написан в то же время, что и предыдущий, образуя с ним очевидное поэтическое единство.

Стр. 266. Сонет написан до 4 ноября 1336 г. В этом сонете Петрарка укоряет Лауру за ее непреклонность, сравнивая ее с суровым Юлием Цезарем, всплакнувшим над головой своего поверженного врага Помпея, и Давидом, рыдавшим над трупом мятежного сына Авессалома, и трупом царя Саула, своего гонителя.

Стр. 267. Сонет написан до 4 ноября 1336 г. *...недоброжелатель...*— зеркало. *Лишить меня обители благой...*— то есть изгнать из сердца. *Удел Нарцисса...*— Нарцисс, влюбленный в свое отражение в воде, был превращен в цветок.

Стр. 268. Сонет относится к авиньонскому периоду.

Стр. 269. Петрарка датирует этот сонет 13 февраля 1337 г. Характерное риторическое самобичевание, подхваченное поэтическими наследниками Петрарки.

Стр. 270. Сонет относится к авиньонскому периоду. *Скорей... где две реки, // Из одного истока, Феб зайдет...*— то есть «скорее солнце зайдет на Востоке».

Стр. 271. Сонет относится к авиньонскому периоду. *Благословен тот край, и дол тот светел.*— Имеются в виду Прованс и церковь св. Клары, где Петрарка впервые встретил Лауру. На русском языке этому сонету повезло. Кроме публикуемого перевода Вяч. Иванова, имеются еще переводы Вал. Брюсова, А. Эфроса, В. Левика и Е. Солоновича.

Приводим перевод В. Брюсова:

Благословен тот вечер, месяц, год.
То время, место, та страна благая,
Тот край земной, тот светлый миг, когда я
Двух милых глаз стал пленник в свой черед.

Благословенна ты, боль роковая,
Что бог любви нам беспощадно шлет,
И лук его, и стрел его полет,
Разящих сердце, язвы растравляя.

Благословенны речи все, где я
Ее назвал, печали не тая,
Желанья все, все жалобы, все стоны!

Благословенны вы, мои канцоны,
Ей спетые, все мысли, что с тоской
Лишь к ней неслись, к ней, только к ней одной.

Стр. 272. Сонет написан 6 апреля 1338 г., то есть в одиннадцатую годовщину встречи с Лаурой, что вполне объясняет содержание сонета.

Стр. 273. Сонет относится к авиньонскому периоду. *...чтоб в сердце у меня // Умерить пламя...*— почти буквальная цитата из Данте («Чистилище», VIII, 84).

Стр. 274. Сонет написан в Риме весной 1337 г. и обращен к другу (возможно, к Орсо дель Ангиллара или Стефано Колонна). *Священный город ваш* — Рим. *Меня терзает за проступок мой* — то есть заставляет меня пожалеть о былой ошибке (любви к Лауре). *К светлому чертогу* — то есть к небу.

Стр. 275. Сонет относится к авиньонскому периоду. Тематически и временем написания связан с последующим LXXV сонетом. В последнем терцете Петрарка извиняется за несовершенные порой свои стихи, объясняя это муками сердца.

Стр. 276. *Оружие, что точит мой тиран* — то есть Амур, любовь.

Стр. 277. Сонет написан весной 1340 г., в тринадцатую годовщину встречи с Лаурой.

Стр. 278. Сонет написан в 1337—1340 гг.

Стр. 279. Сонет относится к авиньонскому периоду. *Благой приют, куда я временами // Спешу вернуться.* — Речь идет о месте, в котором Петрарка впервые встретил Лауру. *Врагов моих, которых так люблю?* — То есть Лауру, день, час и место, когда Петрарка неоглядно влюбился в Лауру.

Стр. 282. Сонет написан в январе 1337 г. на смерть поэта Чино да Пистойя, случившейся в конце 1336 г. *Певец любви* — так провозгласил Чино да Пистойя еще Данте. *Вероломный град.* — Черные гвельфы, захватившие власть в Пистойе, отправили Чино в изгнание.

Стр. 283. Сонет относится к авиньонскому периоду. *Чужая воля...* — то есть Лаура.

Стр. 285. Сонет относится к авиньонскому периоду. В первом катрене Петрарка говорит о двух солнцах: одно из них Лаура, другое — настоящее, озаряющее окно в полдень. *И место, где сразила...* — церковь св. Клары.

Стр. 286. Комментаторы полагают, что сонет, судя по его нарочитой учености, относится к раннему творчеству Петрарки (1327—1330 гг.). В отличие от сонета XLIV, здесь Петрарка, основываясь на свидетельстве Лукана, говорит о притворстве Цезаря. Далее в сонете говорится о притворстве Ганнибала после поражения во 2-й Пунической войне, описанном Титом Ливием.

Стр. 287. Сонет адресован молодому Стефано Колонна, разбившему 22 мая 1333 г. войско Орсини под Сан-Чезарио. *Медведица*...— На гербе Орсини имеется изображение медведицы. ...*лишившись медвежат* — намек на битву при Сан-Чезарио.

Стр. 288. Написан между 1337 и 1339 гг. *Любовь моя* — Лаура. *Сеннуччо*...— Сеннуччо дель Бене (1275—1349), флорентиец из белых гвельфов. Друг Петрарки. Долгое время находился в изгнании в Авиньоне. Как поэт принадлежал к школе «Нового сладостного стиля».

Стр. 289. Сонет написан, как и два следующих, между 1337 и 1341 гг. *Бог-гонитель* — Амур, ежедневно приводивший автора на место, где он мог видеть Лауру.

Стр. 292. Сонет написан в 1342 г., в начале второго уединения Петрарки в Воклюзе. ...*нечестивый Вавилон* — то есть Авиньон, где в то время находился папский двор. *Я здесь живу* — то есть в Воклюзе. *А друг* — скорее всего, Петрарка имеет тут в виду Джованни Колонна, болевшего в то время подагрой.

Стр. 293. Сонет написан в конце 1343 г. Поводом послужило появление канцоны «На смерть Петрарки», написанной феррарским поэтом Антонио Беккари, слишком поспешно откликнувшимся на слухи о гибели Петрарки. Петрарка находился в то время в Неаполе. *И видел в*

двух шагах ее чертог.—Петрарка вспоминает тяжелую болезнь, перенесенную им в 1341 г.

Стр. 294. Сонет на расставание с Лаурой, написан, по всей видимости, в 1341 г. перед отъездом в Рим для получения поэтического венка.

Стр. 295. Этот сонет, как и следующий, написан между 1345 и 1347 гг.

Стр. 297. Сонет написан, так же как и два последующих сонета (СXXXVII и СXXXVIII), против папской курии, в Воклюзе в 1345—1347 гг. *Раб вина...*—по утверждению Петрарки (подтверждение находим в нескольких его эпистолах), папской курии так нравилось французское вино, что она нипочем не хотела перебираться обратно в Рим.

Стр. 298. *Другой султан... Багдад...*—Под «султаном» подразумевается новый папа, под Багдадом—Рим. Уподобление основано на том, что в те времена Багдад был центром могущественных калифов, «наместников» Магомета на земле.

Стр. 299. *Во что ты веришь? В торжество богатств?*—Существуют различные толкования этого несколько неясного места. Наиболее убедительным представляется следующее: император Константин (274—337), сделавший христианство государственной религией и тем самым положивший начало обогащению церкви, навлек на себя божественный гнев.

Стр. 300. *От ваших слов...*—Обращается ли Петрарка к другу или какой-то приятельнице—неясно.

Стр. 301. Сонет написан около 1342 г.

Стр. 302. *Фула... Олимп, Танаис, Бактра, Нил, Атлас...*—Петрарка перечисляет самые дальние по тогдашним географическим представлениям точки. Стало быть, речь идет о «всем подлунном мире». В последнем терците он ограничивает сферу распространения

своих песен Альпами и Средиземным морем, то есть Италией.

Стр. 307. Окончательная редакция сонета относится к 1359 г.

Стр. 308. Сонет целиком построен на иносказании. Общий смысл его таков: когда б я оставался верен латинской музе (т. е. писал бы латинские стихи, которые Петрарка всегда считал для себя главными), а не отвлекался бы на написание пустяков (т. е. любовных стихотворений по-итальянски), то я прославил бы свою родную Флоренцию, как прославил Катулл свою Верону и т. д. Исходя из этого общего смысла, следует толковать и детали. *Тот край* — грот на Парнасе, где бьет Кастальский ключ (отсюда и обращение к Аполлону, богу — покровителю поэзии); *...сорная трава* — поэтические пустяки, писанные по-итальянски; *...суха олива...* — символ «усохшей мудрости».

Стр. 309. *И запоет...* — речь идет о пении Лауры.

Стр. 311. Сонет датируется его содержанием: летом в 1333 г. Петрарка проезжал знаменитый Арденнский лес по пути из Кельна в Авиньон.

Стр. 312. Сонет написан в 1341—1342 гг. *Тебя такая лира восхвалила...* — Гомер. *И гордость Мантуи певец-пастух* — Вергилий, бывший родом из Мантуи. Петрарка называет Вергилия пастухом за его эклоги.

Стр. 313. Сонет написан в 1339 или в 1342—1343 гг. *Лань* — Лаура. *Белая* — символ чистоты. *В час утренний, порою года новой* — на заре юности, в апреле. *Промеж двух рек* — то есть между Соргой и Дюрансом (притоком Роны). *...убор златых рогов* — витиеватое уподобление кос Лауры. *Сверкала вязь...* «*Не рань!*» — Петрарка воспользовался легендой, согласно которой через

триста лет после смерти Цезаря был пойман олень с алмазной надписью в ошейнике «Noli me tangere. Cesaris sum» («Не тронь меня. Я принадлежу Цезарю»). *Полдневная встречала Феба грань...*— то есть когда поэт достиг «половины жизненного пути» (35 лет), что, к слову сказать, и дало основание некоторым комментаторам датировать сонет 1339 г.

Стр. 315. Сонет написан в 1342—1343 гг. и заново отредактирован 19 мая 1368 г.

Стр. 316. *Сверкает лед...*— Лаура.

Стр. 318. *В краю...*— Пикабре или Тусон, где находилась Лаура.

Стр. 319. Сонет был написан в молодости Петраркой, и затем, в июне 1369 г., он его переделал. *В него вошел в году...*— Петрарка называет точную дату первой встречи с Лаурой.

Стр. 320. Поздняя редакция дошедшего до нас сонета, написанного Петраркой в конце 20 — начале 30-ых годов XIV в. *Живая милость и моя подмога...*— Лаура.

Стр. 321. Сонет написан под впечатлением известия о болезни Лауры. Время написания — 30-ые годы.

Стр. 323. *Когда златую колесницу в море...*— цитата из «Георгик» Вергилия (III, 359). *Невнемлющей...*— то есть Лауре. *Лишь солнце вновь любовью...*— Лаура.

Стр. 325. Точно дата сонета не установлена, но, судя по следам знакомства с Плинием, он не мог быть написан ранее 1343 г. (когда Петрарка познакомился с произведениями Плиния). *Был македонский вождь...*— Александр Великий. Плиний рассказывает, что Александр Великий разрешил только нескольким художникам делать его изображения — *Апеллесу* в живописи, *Лисиппу* — в скульптуре (в бронзе). *Тидей* — один из семи

царей, сражавшихся против Фив; будучи раненным в жестокой схватке с *Меналиппом*, нашел в себе достаточно сил, чтобы поразить его, и, уже умирая, все еще грыз его голову. Этим эпизодом, рассказанным Стацием, воспользовался Данте (рассказ о графе Уголино в «Аду»). По преданию, римский диктатор Сулла ослеп в припадке ярости. Римский император *Валентиниан I* (364—375 гг.) умер от приступа ярости во время приема послов. *Аякс* — легендарный греческий герой Троянской войны, бросился на меч, разобитый тем, что ему не достались доспехи Ахилла.

Стр. 326. *О, до чего рука несправедлива...*— Речь идет о жестокосердии Лауры.

Стр. 327. В этом сонете и двух следующих (CCLI и CCLIV) Петрарка говорит о своих предчувствиях смерти Лауры. Тем не менее большинство комментаторов полагают, что эти сонеты были написаны после смерти Лауры. Сам же Петрарка отнес их в конце первой части «Канцоньере».

Стр. 328. *Покинула ль блаженная земную // Прекрасную гостиницу...*— то есть покинула ли душа Лауры прекрасное тело.

Стр. 329. *Иным краса уж принесла беду...*— Подразумеваются Андромеда и Кассиопея, превращенные в звезды. *О, злое расставанье...*— в год смерти Лауры (1348 г.) Петрарка находился в Италии.

Стр. 330. Сонет построен в форме диалога между Лаурой и пожилой женщиной. *Лукреция* — обесчещенная Тарквинием, покончила с собой. В европейской поэзии стала символом моральной чистоты и верности женскому долгу.

НА СМЕРТЬ МАДОННЫ ЛАУРЫ

Стр. 331. Сонет написан 21 сентября 1350 г. Отмечалось, что он навеян стихотворением провансальского поэта Арно Даниэля.

Стр. 333. Сонет написан после 19 мая 1348 г., когда Петрарка получил сообщение о смерти Лауры.

Стр. 334. Сонет написан вскоре после 3 июля 1348 г. В этот день в Риме умер от чумы кардинал Джованни Колонна (*столп мой стройный*), друг и покровитель Петрарки. Оплакиванию двух близких Петрарке людей (Джованни Колонна и умершей в апреле того же года Лауры) и посвящен сонет. *От Индии до Мавра...*— то есть от Индии до Атлантического океана, называвшегося тогда Мавританским морем. Сонет принадлежит к числу самых знаменитых стихотворений «Канцоньере».

Перевод Ив. Козлова:

Прекрасная колонна пала,
И лавр зеленый мой увял;
А лишь об них душа мечтала,
И я, томясь, отрады ждал.

Их не найду, в моем я горе,
В холодных, пламенных странах,
Ни в бурном африканском море,
Ни в светлых Индии волнах.

Моих надежд уж я лишился,
И смерть без жалости взяла
И то, чем в жизни я гордился,
И то, чем жизнь моя цвела.

Обширной областью земною.
Блестящим княжеским венцом,
Несметной золота ценою,
Восточным ярким жемчугом —

Нигде, ничем тоске не можно
Утраты сердца заменить;
В уделе горестном лишь должно
Всю жизнь страдать и слезы лить.

О наша жизнь, которой сладость
Манит обманчивой красотой!
В чем столько лет мы зрели радость,—
Минутой рушится одной.

Стр. 335. Сонет написан, по вероятности, весной 1350 г. *И начал новым соблазнять пожаром...*— Речь идет о красавице из Феррары, которой в ту пору увлекся Петрарка.

Стр. 336. Размышления о быстротечности жизни постоянно занимали Петрарку. В «Послании к друзьям» Петрарка вспоминает, что писали на эту тему Гораций, Ювенал, Вергилий, Овидий, Цицерон и Сенека. *И путеводных звезд...*— то есть глаз Лауры, которые указывали путь к спасению.

Стр. 341. *Меня ведет мираж...*— Лаура, живущая в воображении поэта.

Стр. 342. Сонет написан 6 апреля 1351 г. в третью годовщину со дня смерти Лауры.

Стр. 343. Сонет написан в Воклюзе летом 1351 г.

Стр. 344. Написан в Воклюзе летом 1351 г. *Я видеть то, что видеть жажду...*— то есть Лауру. *Должно быть, как на Кипре...*— остров, посвященный Венере.

Стр. 345. Сонет написан в Воклюзе в 1351—1353 гг. *Земной рай*— Воклюз.

Стр. 346. Сонет написан в Воклюзе в 1351—1353 гг.

Стр. 349. Сонет написан осенью 1349 г. на смерть Сеннуччо дель Бене, близкого друга Петрарки. *Гвиттону, Чино, Данте в третьей сфере...*— Петрарка перечисляет поэтов любви Гвиттоне д'Ареццо, Чино да Пистойя, Дан-

те, которые находятся на небе Венеры (согласно тогдашней космогонии «третьей сферы»).

Стр. 350. Сонет написан в Воклюзе в 1351—1353 гг. *С вершин суровых...— с гор, окаймляющих Воклюз.*

Стр. 351. *В ней небо даровало...— то есть в Лауре. Ее вернуть на родину огней...— то есть, согласно платоновскому взгляду, вернуть на звезду Венеру, откуда спустилась ее душа на землю.*

Стр. 354. Сонет относится к 1348—1351 гг.

Стр. 356. *Час давний, ставший участью моею...— то есть день 6 апреля.*

Стр. 357. Сонет написан в Воклюзе в 1351—1353 гг. *Дол...— Воклюз. ...река...— Сорга.*

Стр. 358. Сонет написан в Воклюзе в 1351—1353 гг. *В круг третий душ...— См. примеч. к с. 349.*

Стр. 359. Сонет написан в Воклюзе в 1351—1353 гг.

Стр. 361. Сонет написан весной 1352 г.

Стр. 364. Сонет написан в Воклюзе в 1351—1352 гг. *И скорьбь внезапная...— скорьбь Лауры в связи с отъездом Петрарки в 1347 г.*

Стр. 366. Сонет написан, вероятнее всего, в 1351—1352 гг. *А между тем уж время приближалось...— иными словами, если б мы оба прожили дольше, то наступил бы момент — «Когда она могла б внимать сердечно // Моим словам...».*

Стр. 367. *...растенье...— то есть лавр, Лаура. Другое Каллиопа избрала // С Эвтерпой...— Каллиопа — муза эпической поэзии, Эвтерпа — муза лирической поэзии.*

Стр. 368. Сонет написан по возвращении из Италии в Воклюз в 1351 г. *Хозяин мой...— Амур.*

Стр. 369. Сонет написан примерно в одно время с предыдущим. *Так вот гнездо...— где родилась и выросла Лаура.*

Стр. 371. *Идите к камню...*— то есть могильному камню.

Стр. 373. По всей вероятности, сонет написан в 1369 г., в годовщину смерти Лауры. *Родной звезды...*— Венеры.

Стр. 378. *О той, кого земля и небо взяли...*— то есть о похороненной Лауре, чья душа вознеслась на небо.

Стр. 380. *Лет трижды семь повинен был гореть я...*— Сонет написан 6 апреля 1358 г. (отсчитывая от 6 апреля 1327 г.).





СОДЕРЖАНИЕ

От издательства 5

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Перевод М. О. Гершензона

Письмо к потомкам 9
Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру . 25

СОНЕТЫ

На жизнь мадонны Лауры

I. «В собрание песен, верных юной страсти...» *Перевод Е. Солоновича* 245
II. «Я поступал ему наперекор...» *Перевод Е. Солоновича* 246
III. «Был день, в который, по Творце вселенной...» *Перевод Вяч. Иванова* 247
IV. «Предивный, преискуснейший творитель...» *Перевод А. Эфрон* 248

VI. «Настолько безрассуден мой порыв...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	249
VII. «Обжорство, лень и мягкие постели...»	<i>Перевод</i>	
	<i>А. Эфрон</i>	250
IX. «Когда к Тельцу приходит вновь планета...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	251
X. «Колонна благородная, залог...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	252
XII. «Коль жизнь моя настолько терпелива...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	253
XIII. «Когда в ее обличии проходит...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Вяч. Иванова</i>	254
XV. «Я шаг шагну — и оглянусь назад...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Вяч. Иванова</i>	255
XVI. «Пустился в путь седой как лунь старик...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	256
XVII. «Вздыхаю, словно шелестит листвою...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	257
XIX. «Есть существа, которые летят...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	258
XX. «О вашей красоте в стихах молчу...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	259
XXXII. «Чем ближе край, за коим — только бездна...»	<i>Перевод</i>	
	<i>А. Эфрон</i>	260
XXXIV. «Коль скоро, Аполлон, прекрасный пыл...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	261
XXXV. «Брожу в полях, задумчив, одинок...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	262
XXXIX. «Меня страшит немилосердный взгляд...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	263
XLI. «Когда из рожи Дафна прочь уйдет...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Витковского</i>	264
XLII. «Но стоит улыбнуться ей, неожиданно...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Витковского</i>	265

XLIV. «Кто, проявив неумолимый нрав...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	266
XLV. «Мой постоянный недоброжелатель...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	267
XLVIII. «Огню огонь предела не положит...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	268
XLIX. «По мере сил тебя предостеречь...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	269
LVII. «Мгновенья счастья на подъем ленивы...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Вяч. Иванова</i>	270
LXI. «Благословен день, месяц, лето, час...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Вяч. Иванова</i>	271
LXII. «Бессмысленно теряя дни за днями...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	272
LXV. «Несчастный! я предположить не мог...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	273
LXVIII. «Священный город ваш, любезный богу...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	274
LXXIV. «Я изнемог от безответных дум...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Вяч. Иванова</i>	275
LXXV. «Язвительны прекрасных глаз лучи...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Вяч. Иванова</i>	276
LXXIX. «Когда любви четырнадцатый год...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	277
LXXXII. «Моей любви усталость не грозила...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	278
LXXXV. «Любил, люблю, не в силах разлюбить...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	279
LXXXVII. «Отправив только что стрелу в полет...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	280
XC. «Зефир ее рассыпанные пряди...»	<i>Перевод</i>	
	<i>А. Эфрон</i>	281
XCII. «Рыдайте, дамы. Пусть Амур заплачет...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	282

XCVI. «Я так устал без усталости вздыхать...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	283
XCVII. «О высший дар, бесценная свобода...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	284
C. «И то окно, где может с двойником...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	285
СII. «Когда поднес, решившись на измену...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	286
СIII. «Успеха Ганнибал, победе рад...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	287
CVIII. «Благое место, где в один из дней...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	288
CX. «Опять я шел, куда мой бог-гонитель...»	<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	289
CXI. «Та, чьей улыбкой жизнь моя светла...»	<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	290
CXII. «Сеннуччо, хочешь, я тебе открою...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	291
CXIV. «Покинув нечестивый Вавилон...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	292
CXX. «Узнав из ваших полных скорби строк...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	293
CXXIII. «Внезапную ту бледность, что за миг...»	<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	294
CXXXII. «Коль не любовь сей жар, какой недуг...»	<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	295
CXXXIV. «Мне мира нет,— и брани не подъямлю...»	<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	296
CXXXVI. «Что ж, в том же духе продолжай, покуда...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	297
CXXXVII. «Разгневал бога алчный Вавилон...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	298
CXXXVIII. «Источник скорби, бешенства обитель...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	299

CXLIII. «Любви очарование исходит...»	<i>Перевод</i>	
	<i>Е. Солоновича</i>	300
CXLV. «В краю снегов, и там, где вечный зной...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	301
CXLVI. «О деятельным славная добром...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	302
CLIV. «Сонм светлых звезд и всякое начало...»	<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	303
CLVI. «Я лицезрел небесную печаль...»	<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	304
CLVII. «Тот жгучий день, в душе отпечатленный...»	<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	305
CLVIII. «Куда ни брошу безутешный взгляд...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	306
CLIX. «Ее творя, какой прообраз вечный...»	<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	307
CLXVI. «Когда бы я остался в том краю...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	308
CLXVII. «Когда она, глаза полужакрыв...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	309
CLXXII. «О Зависть, о коварное начало...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	310
CLXXXVI. «Глухой тропой, дубравой непробудной...»	<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	311
CLXXXVII. «Над прахом достославного Ахилла...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	312
CXC. «Лань белая на зелени лугов...»	<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	313
CXCV. «Года идут. Я все бледнее цветом...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	314
CXCIX. «Прекрасная рука! Разжалась ты...»	<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	315
CCII. «Сверкает лед, и от живого льда...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>	316

CCV. «О, сладость гнева, сладость примирений...»	
<i>Перевод А. Эфрон</i>	317
CCIX. «Остался я до гробовой доски...»	<i>Перевод</i>
<i>Е. Солоновича</i>	318
CCXI. «Ведет меня Амур, стремится Желанье...»	<i>Пере-</i>
<i>вод А. Эфрон</i>	319
CCXVI. «Я плачу днем; и после, с темнотою...»	<i>Пе-</i>
<i>ревод Е. Солоновича</i>	320
CCXVIII. «Какою бы красою ни блистали...»	<i>Пе-</i>
<i>ревод А. Эфрон</i>	321
CCXX. «Земная ль жила золото дала...»	<i>Перевод</i>
<i>Вяч. Иванова</i>	322
CCXXIII. «Когда златую колесницу в море...»	<i>Пе-</i>
<i>ревод Вяч. Иванова</i>	323
CCXXVI. «Единственный на крыше воробей...»	<i>Пе-</i>
<i>ревод Е. Солоновича</i>	324
CCXXXII. «Был македонский вождь непобедим...»	<i>Пе-</i>
<i>ревод Е. Солоновича</i>	325
CCXXXIV. «Приют страданий, скромный мой по-	
кой...»	<i>Перевод Е. Солоновича</i>
	326
CCL. «В разлуке ликом ангельским давно ли...»	<i>Пе-</i>
<i>ревод Е. Солоновича</i>	327
CCLI. «Сон горестный! Ужасное виденье!..»	<i>Пере-</i>
<i>вод Вяч. Иванова</i>	328
CCLIV. «Я о моей врагине тщетно жду...»	<i>Перевод</i>
<i>Е. Солоновича</i>	329
CCLXII. «— Жизнь — это счастье, а утратить	
честь...»	<i>Перевод Е. Витковского</i>
	330
<i>На смерть мадонны Лауры</i>	
CCLXV. «Безжалостное сердце, дикий нрав...»	<i>Пе-</i>
<i>ревод Е. Солоновича</i>	331
CCLXVI. «Синьор, я вечно думаю о Вас...»	<i>Перевод</i>
<i>Е. Витковского</i>	332

CCLXVII. «О лик прекрасный! О приветный взор!..» <i>Перевод Е. Солоновича</i>	333
CCLXIX. «Повержен Лавр зеленый. Столп мой стройный!..» <i>Перевод Вяч. Иванова</i>	334
CCLXXI. «Когда меня от многолетних пут...» <i>Пе- ред Е. Солоновича</i>	335
CCLXXII. «Уходит жизнь — уж так заведено...» <i>Перевод Е. Солоновича</i>	336
CCLXXIII. «Остановись! Зачем неумолимо...» <i>Пе- ред Н. Матвеевой</i>	337
CCLXXIV. «Умолкни, мысль моя! Другие упре- дили...» <i>Перевод Н. Матвеевой</i>	338
CCLXXV. «Глаза мои! — зашло то солнце, за ко- торым...» <i>Перевод Н. Матвеевой</i>	339
CCLXXVI. «Когда не стало ангельского взгляда...» <i>Перевод Н. Матвеевой</i>	340
CCLXXVII. «Коль скоро бог любви былой завет...» <i>Перевод Е. Солоновича</i>	341
CCLXXVIII. «В цветущие, прекраснейшие лета...» <i>Перевод А. Эфрон</i>	342
CCLXXIX. «Поют ли жалобно лесные птицы...» <i>Перевод Вяч. Иванова</i>	343
CCLXXX. «Не знаю края, где бы столь же ясно...» <i>Перевод Е. Солоновича</i>	344
CCLXXXI. «Как часто здесь, в моем земном раю...» <i>Перевод Е. Солоновича</i>	345
CCLXXXII. «Ты смотришь на меня из темноты...» <i>Перевод Е. Солоновича</i>	346
CCLXXXIII. «Ты красок лик прекраснейший лиши- ла...» <i>Перевод Е. Солоновича</i>	347
CCLXXXV. «Не слышал сын от матери родной...» <i>Перевод Вяч. Иванова</i>	348
CCLXXXVII. «Сеннуччо, дружбы голосу внемли!..» <i>Перевод Е. Солоновича</i>	349

CCLXXXVIII. «Я вздохами заполнил все вокруг...» <i>Перевод Е. Солоновича</i>	350
CCLXXXIX. «Свой пламенник, прекрасней и ясней...» <i>Перевод Вяч. Иванова</i>	351
ССХС. «Теперь я вижу: то, что горем было...» <i>Перевод Н. Матвеевой</i>	352
ССХСІ. «Когда спускается, румянцем пламеня...» <i>Перевод Н. Матвеевой</i>	353
ССХСІІ. «Я припадал к ее стопам в стихах...» <i>Перевод Е. Солоновича</i>	354
ССХСVІІ. «В ней добродетель слиться с красотою...» <i>Перевод А. Эфрон</i>	355
ССХСVІІІ. «Дни, убегая, пламень угасили...» <i>Перевод А. Эфрон</i>	356
СССІ. «Дол и река — слез, жалоб и стенаний...» <i>Перевод А. Эфрон</i>	357
СССІІ. «Восхитила мой дух за грань вселенной...» <i>Перевод Вяч. Иванова</i>	358
СССVІІ. «Я уповал на быстрые крыла...» <i>Перевод Е. Солоновича</i>	359
СССХ. «Зефир вернулся с родственною свитой...» <i>Перевод Н. Матвеевой</i>	360
СССХІ. «О чем так сладко плачет соловей...» <i>Перевод Вяч. Иванова</i>	361
СССХІІ. «Ни ясных звезд блуждающие станы...» <i>Перевод Вяч. Иванова</i>	362
СССХІІІ. «О ней писал и плакал я, сгорая...» <i>Перевод А. Эфрон</i>	363
СССХІV. «Душа моя, ты неминучих бед...» <i>Перевод Е. Солоновича</i>	364
СССХV. «Преполовилась жизнь. Огней немного...» <i>Перевод Вяч. Иванова</i>	365
СССХVІІ. «Амур меня до тихого причала...» <i>Перевод А. Эфрон</i>	366

СССХVIII. «Когда судьба растение сотрясла...»	
<i>Перевод Е. Солоновича</i>	367
СССХХ. «О, ветер дней минувших над холмами...»	
<i>Перевод А. Эфрон</i>	368
СССХХI. «Так вот гнездо, в котором пламенело...»	
<i>Перевод А. Эфрон</i>	369
СССХХIХ. «О, час, о, миг последнего свиданья...»	
<i>Перевод Е. Солоновича</i>	370
СССХХХIII. «Идите к камню, жалобные строки...»	
<i>Перевод А. Эфрон</i>	371
СССХХХV. «Средь тысяч женщин лишь одна была...»	
<i>Перевод Е. Витковского</i>	372
СССХХХVI. «Я мыслю лелею непрестанной...»	
<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	373
СССХL. «Мой драгоценный, нежный мой оплот...»	
<i>Перевод Е. Солоновича</i>	374
СССХLIV. «Быть может, сладкой радостью когда-то...»	
<i>Перевод Е. Солоновича</i>	375
СССХLVI. «Когда она почилa в Боге, встретил...»	
<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	376
СССХLIX. «Мне поминутно приглашенье мнится...»	
<i>Перевод Е. Солоновича</i>	377
СССLIII. «Пичужка, что, держа куда-то путь...»	
<i>Перевод Е. Солоновича</i>	378
СССLXI. «Мне зеркало сказало напрямик...»	
<i>Перевод В. Левика</i>	379
СССLXIV. «Лет трижды семь повинен был гореть я...»	
<i>Перевод Вяч. Иванова</i>	380
СССLXV. «О канувшем былом моя кручина...»	
<i>Перевод А. Эфрон</i>	381

КОММЕНТАРИИ
Н. Томашевского

Основные даты жизни и творчества Франческо Петрарки	385
* Франческо Петрарка в русской поэзии	390
Примечания	403



Петрарка Франческо.
П30 Избранное. Автобиографическая проза.
Сонеты. Сост. и коммент. А. Томашевского.
Худ. А. Гончаров. М., «Худож. лит.», 1974

448 с.

В книгу избранных произведений великого итальянского поэта эпохи Возрождения Франческо Петрарки входят его автобиографическая проза («Письмо к потомкам», представляющее собою автобиографию поэта, и «Книга бесед», которая по своему содержанию может быть отнесена к жанру исповеди) и свыше ста знаменитых сонетов на жизнь и смерть мадонны Лауры. Оформление художника А. Гончарова. Издание приурочено к 600-летию со дня смерти поэта.

П $\frac{70404-237}{028(01)-74}$ 170-74

И(Итал)

ФРАНЧЕСКО
ПЕТРАРКА

ИЗБРАННОЕ

*

Редактор

О. Лозовецкий

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор

С. Журбицкая

Корректоры

Г. Киселева и О. Наренкова

* * *

Сдано в набор 27/XI 1973 г. Подписано в
печать 19/IV 1974 г. Бумага маш.-мелов.
Формат 70×108¹/₃₂. 14 печ. л. 19,6 усл.
печ. л., 11,831 уч.-изд. л. Тираж 30 000 экз.
Цена 50 коп.

*